



**БОРИС ХАЗАНОВ**

# **ТРЕВОГА И ТРУД**

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги:

**Истинная история минувших времен.**

**К северу от будущего.** Романы и повести

**Третье время.** Романы и повести

**После нас потоп.** Романы и повести

**Вчерашняя вечность.** Повести и рассказы

**Опровержение Чёрного павлина.** Романы, повести, эссе

**Миф Россия.** Статьи и эссе

**Подвиг Искарриота.** Рассказы, статьи, письма

**В лучах чужих планет.** Рассказы, статьи, переводы

**...Пиши, мой друг.** Переписка с Марком Харитоновым» (2 тт.)

**Элизиум теней.**

**Пусть ночь придет.** Повести о женщинах

**Человек-перо.** Писатели и литература

**Письма из прекрасного далёка.**

**В садах за огненной рекой.**

**РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ**  
КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ





**Борис ХАЗАНОВ**

**ТРЕВОГА И ТРУД**

**МАЛАЯ ПРОЗА 2000–2015**

Санкт-Петербург

АЛЕТЕЙЯ

2015

УДК 821.161.1(082)  
ББК 84(2Рос=Рус)6-5я43  
X 614

**Хазанов Б.**

X-614 Тревога и труд. — СПб.: Алетейя, 2015. — 131 с. (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978—5—91419—731—2

Сборник рассказов и эссе, написанных в последние годы и объединённых общими темами: время и память, сон и явь, действительность и литература, любовь и судьба личности, отстаивающей своё достоинство и существование в обезчеловеченном мире.

**УДК 821.161.1(082)**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6-5я43**

© Б. Хазанов, 2015  
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:  
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;  
Тревога и труд лишь для смертных сердец...  
Для них нет победы, для них есть конец.

*Тютчев*





## Московские древности

...Таковы, например, евреи. Они теперь остаются носителями Антихриста и, уж конечно, восторжествуют: они ломаются, они идут; всё враждебное человечеству — за них, как же им не восторжествовать на гибель миру!

*Достоевский — Юлии Абазы (1880)*

Москва! как много в этом звуке...

*Пушкин*

...В те годы великий город, пятно неправильной формы, вбирающее в себя тысячевёрстные магистрали далёких окраин, стояло на карте моей души, и до сих пор в памяти живут времена, когда казалось мне, нигде больше нельзя жить на свете, кроме Москвы.

Но всё трудней с каждым годом становилось передвигаться по городу. Сергей Миронов, профессиональный шофёр, в своё время водивший тяжёлые многоколёсные фургоны в Финляндию, не переставал удивляться беззаконному уличному движению в столице. Опрокинутые колёсами вверх машины с разбитыми фарами, со смятым радиатором, похоже, стали рутиной. Чуть ли не каждый третий автомобилист, оказавшись он за границей, тотчас лишился бы водительских прав. А что поделаешь? Таков был этот город. Часами сидели мы в проб-

ках, поглядывали на вереницы машин, запрудивших тротуары, на испуганных прохожих, прижавшихся к стенам домов, на несущиеся, изрыгая газ и смерть, по центральной полосе, а то и навстречу движению, импортные лимузины новых хозяев жизни, слышали хор несмолкающих гудков, искали глазами несчастную, намертво застрявшую в безбрежной лавине Скорую помощь. Сколько же времени, думал я, остаётся этому Вавилону до Судного дня, когда наступит коллапс. Но коллапс, подобно концу света, постоянно откладывается.

Любопытное совпадение с «Московским дневником» 1929–30 г. Вальтера Беньямина:

«Люди ходят по улице, лавируя. Это естественное следствие перенаселенности узких тротуаров. Эти тротуары придают Москве нечто от провинциального города или, вернее, характер импровизированной метрополии, роль которой не нее свалилась совершенно внезапно. Ничто не происходит так, как было назначено и как того ожидают, — это банальное выражение сложности жизни с такой неотвратимостью и так мощно подтверждается здесь на каждом шагу, что русский фатализм очень скоро становится понятным...»

И всё же я отваживался показывать город друзьям, водил, уступая просьбам, Сергея и его красивую жену — в только что воздвигнутый соборный храм Христа Спасителя на Волхонке — грандиозный шедевр державно-православного кича, — толковал иконы и фрески. Должно быть, это было комическое зрелище: еврейский гид просвещает в соборе невежественных христиан. Удава-

лось приглашать закордонных гостей, и я сопровождал чету Графенхорстов в древнерусские чертоги Третьяковки, где, к счастью, ничего не изменилось.

Моим немцам я показывал смолистые кудри Дмитрия Солунского, крутолобого угодника Николая Мирликийского, худенькую, похожую на подростка Параскеву Пятницу, Нерукотворного Спаса, Устюжское Благовещенье, некогда спасённое от метеоритного камнепада, братьев-мучеников Бориса и Глеба в круглых княжеских шапках, со скорбными кофейными лицами, — с флажками на копьях, бок о бок верхом на танцующих тонкошеих конях. Так брели мы из одного зала в другой, покуда не явились навстречу нам, как их видел в XV столетии инок Андроникова монастыря Андрей Рублёв, те Трое, о которых я, как Блок о «Макбете», не могу говорить без волнения. В полуденный палестинский зной пришли полуюноши, полудевушки к пожилым супругам Аврааму и Сарре. Таинственных гостей усадили в тени под деревом. И вот они сидят, склонив друг к другу пышные причёски, ведут друг с другом безмолвную беседу, излучают гармонию, покой и волю, каких не бывало, не будет в нашей горемычной стране.

Последний день моего паломничества наступил; чуть было не забыл я упомянуть о том, что оказался в Москве благодаря счастливой случайности — удостоившись литературной премии. Церемония вручения награды была закончена. Обратный путь по Каширскому шоссе в аэропорт вместе с моим братом Толей, ныне покойным, проделали в такси, шофёр оказался приветливым интеллигентным человеком. Разговор шёл о том,

о сём. Водитель отрекомендовался верующим православным христианином. Толковали об иконописи, о библейских сюжетах. Мой любознательный брат спросил: «А как вы относитесь к евреям?» На что собеседник ответил, что евреи очень способный народ, но их, прибавил он, надо ограничивать. Мне вспомнились времена моей ушедшей жизни на родине, и было нетрудно понять, что означали эти слова. Ничего, стало быть, не изменилось.

Водитель остановил машину перед входом в аэровокзал. Мы дружески попрощались.

## О дневнике

Идея вести собственный дневник осенила после чтения необыкновенно увлекших меня, уснащённых выдержками из юношеского дневника Воспоминаний Вересаева. Мне было 15 лет. Шла война, жили в посёлке районной больницы, в бараке для персонала, я ходил в школу русско-татарского села Красный Бор на Каме — два километра зимой по снежной дороге, осенью в разливах грязи, слева холмы, поросшие лесом, справа могучая река.

Поздними вечерами, когда моя мачеха дежурила в больнице, а маленький сводный брат уже спал, я сидел перед коптилкой, читал и писал; увлечения мои сменяли друг друга, менялись и жанры; с некоторых пор стали главными литературные: письма к многоюродному дяде, студенту энергетического института из эвакуации на Урале — и дневник. Осенью 44-го мы вернулись в Москву.

В июле 49 года был арестован Сёма Виленский, к этому времени я был студентом последнего курса филологического факультета, классического отделения. Я уничтожил последнюю, теперь уже написанную в Москве, дневниковую тетрадку, где чёрным по белому стояло, что в нашей стране фашизм и прочее в этом роде. Но прошло несколько месяцев, судьба Сёмы, исчезнувшего

бесследно, осталась неизвестной, никто за нами, мной и моим другом Яшей, не пришёл. Наконец, в ночь на 26 октября 1949 г. крысы в фуражках с голубым околышем вторглись в квартиру моих родителей. Меня увезли на Лубянку, дома в моё отсутствие был произведён обыск. Грабители унесли все мои бумаги, в том числе письма к дяде и дневник, об исчезновении которого я не перестаю — через столько лет — жалеть.

## История псевдонима

На главной странице нелегального машинописного журнала (позднее — сборника) «Евреи в СССР», изготовляемого в количестве десяти-пятнадцати экземпляров, один из его основателей и редактор, физик Александр Воронель предупреждал будущих авторов и читателей (включая тайную полицию), что анонимных и псевдонимных материалов журнал не публикует. Дело происходило, если не ошибаюсь, во второй половине 70-х, к этому времени я был давно уже освобождён из лагеря и около двух десятилетий обретался на воле.

Вопреки объявлению, означавшему намерение вести себя хорошо, редактор согласился поместить в самиздатском журнале мою статью «Новая Россия», но счёл её слишком рискованной и присвоил автору псевдоним, который должен был звучать, в согласии с программой и наименованием всего предприятия, и по-еврейски, и по-русски. Так появился на свет Борис Хазанов. Реальный носитель этого имени, инженер, неведомый мне и никакого отношения к диссидентскому движению не имевший, уже несколько лет находился в Америке; предполагалось, что КГБ до него не дотянется. (Мир тесен, и много позже оказалось, что Б. Хазанов был родственником моей первой французской переводчицы, парижанки Элены Роллан.)

Конспирация не помогла, довольно скоро псевдоним был разоблачён. С тех пор он приклеился ко мне и украшает все мои сочинения, но литература моя стала решающим обстоятельством, побудившим в конце концов и меня покинуть отечество.



## Об одном литературном герое

### 1

Оставляя в стороне дискуссионный вопрос о действительной или мнимой автобиографичности произведений писателя Бориса Хазанова, послуживших материалом для настоящего исследования, мы хотели бы привлечь внимание учёных коллег к особому социально-психологическому типу, который фигурирует в повестях и рассказах автора в роли главного героя либо фиктивного героя-рассказчика. Назовём его *несостоявшимся любовником*. Полагаем, что этот тип может представить интерес для специалистов в области, с недавних пор называемой микросоциологией, иначе социологией личности — парадоксального термина. С литературоведческой точки зрения в этом персонаже можно узнать — разумеется, с известными ограничениями — потомка «лишних людей» русского XIX века, правнука Рудина. Вместе с тем есть основания считать его типичным для эпохи, которая служит Б. Хазанову квазиисторической кулисой, — относительно короткого времени позднего сталинизма, преимущественно военных и послевоенных десятилетий. Скупой намеченный биография героя, предварённый воспоминаниями детства, как правило, охватывает немецкое вторжение, эва-

куацию подростка в отдалённый район страны и начинающийся пубертат, наконец, прекращение великой войны, и последующие *Lehrjahre*, — вчерашний школьник становится студентом.

## 2

Здесь прежде всего нужно указать на главную и необходимую для формирования указанного социопсихологического типа черту времени — тотальную несвободу личности в государстве, гордом одержанной победой. Оба аспекта этой двуликой несвободы — политическое бесправие и репрессивная полицейская мораль. Общим знаменателем и своего рода психологической легитимацией обеих форм закабаления является страх. Позволим себе, не прибегая к обычной объяснительной аргументации — будь то фрейдизм или общепринятые теории фашистского и коммунистического тоталитаризма, — воспользоваться метафорой поля, аналогичного электромагнитному или гравитационному полям в физике.

Всенародное обожание Великого Вождя, напоминающее языческие культы первобытных племён, как и страх репрессий, настигающих каждого, кто посмел бы посягнуть на священный Портрет, центральный антропоморфный тотем, создают высоковольтное психофизическое поле, в котором вегетируют общество в целом и каждый его член. Здесь, в этом поле несвободы, растёт новое поколение, дети рабов, сюда заброшен и постепенно привыкает, уподобляясь глубоководным рыбам,

не замечающим чудовищное давление толщи океанских вод, молодой человек — излюбленный персонаж прозы Б. Хазанова.

Вождь, чью мифологическую таинственность надёжно укрывают неприступные башни и зубчатые стены пятисотлетней крепости, правитель, наделённый сверхчеловеческими свойствами всемогущества и всеведения, излучает страх, неотличимый от любви, и любовь, порождающую экзистенциальный страх.

Этому страху, в котором нетрудно распознать сексуальную составляющую (массовая эротика — феномен, требующий специального изучения, см. соответствующую литературу), на уровне личности противостоит, чтобы не сказать: конкурирует с ним, второе, не менее напряжённое эротическое поле, окружающее литературного героя — поле, которое излучает девушка. Постепенно из платоновской идеи объект ещё не осознанного вождения вырисовывается и принимает конкретный облик юной обожаемой женщины.

Важно отметить, возвращаясь к писателю, о котором идёт речь, что он отказывается в своих произведениях от завещанного классиками психологизма. Психология в описании действующих лиц оттеснена системой символических жестов. Перед нами (в чём мы сейчас убедимся) печальное зрелище безнадёжно ритуализованной, задохнувшейся эротики.

### 3

В 1799 году 27-летний Фридрих Шлегель, влюблённый в свободную от предрассудков Доротею Файт,

позже ставшую его женой, опубликовал в Берлине в высшей степени безнравственный роман «Люцинда». Критику возмутил скандальный эпизод. Герой романа Юлиус намерен овладеть возлюбленной — наивной и беспорочной девушкой. В решающий момент, когда он почти достиг своей цели, его останавливает боязнь оскорбить её целомудрие. Но оказывается, что девушка, ожидавшая иного, в свою очередь оскорблена его нерешительностью и в отчаянии рыдает. Всё это подозрительно напоминает ситуацию неосуществившейся любви героя прозы Б. Хазанова. Правда, этот горе-герой не настолько самонадеян, чтобы вознамериться предпринять прямую атаку

Вначале, убедив себя, что влюблён, он принимает головокружительно смелое решение — признаться избраннице в своих чувствах. Однако не смеет сказать об этом вслух и одной бессонной ночью сочиняет восторженное письмо. Происходит встреча; дошла ли почтовая исповедь до адресата, неизвестно. Оба стыдливо помалкивают о случившемся, но цель достигнута: теперь она *знает*. Можно предположить, что письмо взволновало девушку, не привыкшую к подобным излияниям. Язык половой любви табуирован в пуританском обществе, где вся сфера эротики находится под запретом. Герой и его возлюбленная задыхаются в безвоздушном пространстве постыдной и противозаконной тайны. Юная, видимым образом созревшая для любви женщина абсолютно недоступна. Презумпция невинности, навязанная традиционным воспитанием и социалистическим ханжеством, закрепощает её совершенно так же,

как крепостная стена и вооружённая стража обороняют объятую страхом диктатора. Круг замкнулся: страх остаётся неизменной движущей силой поведения любовной пары, страх разоблачения, страх девственницы перед вторжением, страх молодого человека перед женской телесностью, перед коитусом.

#### 4

Увы! Она ждала: молчание должно было чем-то разрешиться. За письмом последуют «дела». В конце концов, традиция предписывает инициативу мужчине. Ожидается, что поклонник, не дай Бог, покажет себя агрессором — что тогда?.. Допустим, её попробуют обнять; ответит ли она на поцелуй? Но ничего не происходит. Остаётся ритуал ухаживания: её провожают домой, не осмеливаясь взять её хотя бы под руку. Они идут рядом, разговор касается нейтральных тем, в крайнем случае сводится к полунамёкам. Инициативу гасит обоюдная неловкость.

Под конец барышня протягивает обескураженному кавалеру узкую, согретую теплом женственности ладошку. Дружеское рукопожатие, символический суррогат прощального поцелуя.

Несчастье в том, что обожание наскучило. Сюжетная немощь и разочарование, в свою очередь, наступают и читателя.

## Детство тридцатых

Мальчик по фамилии Казаков, по прозвищу Казак, историческая личность (я бы назвал его: несовершеннолетний Ставрогин), излучал демоническое очарование, покорял самоуверенностью, таинственностью, инстинктом владычества. Одним своим появлением он вселял в душу суеверный страх и ожидание опасности. Кто он был такой? Казак проживал в нашем переулке, но где, в каком доме, никто не знал, он заходил к нам во двор неизвестно зачем, но мы-то знали — чтобы испытать свою власть, покуражиться, поиздеваться над нами. Как и нам, ему было 10–11 лет, что-то было в его лице, в хищном взгляде — он искал жертву; пожалуй, он был красив, но какой-то подлой, отталкивающей красотой; не столько силён физически, сколько ловок и отважен; демонстрировал презрение к опасности, ко всем нам и нашей трусости, по-обезьяньи взбирался вверх по пожарной лестнице, — в этом ещё не было ничего особенного, мы все это умели; но, перехватив цепкими худыми руками железную перекладину, соединявшую лестницу со стеной дома на уровне высокого второго этажа, он передвигался по ней, перебирая ладонями, не ведая страха, легко подтягивался, как на турнике, извивался и болтал ногами в пустоте, возвращался к лестнице, спускался вниз ко всеобщему облегчению и спрыгивал с по-

бедительным видом. Благодаря такому упражнению авторитет Казака возрастал неимоверно. Но этого было мало. Он мог, изловчившись, схватить свою жертву за нос и потащить за собой, уверенный, что не встретит сопротивления, неожиданно мог сбить с ног, подставив ножку, в суверенном сознании своего превосходства, наградить тебя постыдным прозвищем. После чего вдруг исчезал.

Мир отрочества, словно кривое зеркало в Аллее смеха в Парке культуры и отдыха, отражал мир взрослых. Догадывались ли мы, что наше едва проклюнувшееся будущее должно было совпасть с эпохой, чьим лозунгом было насилие, опознавательным знаком — садизм? Мы знать не знали о том, что уже стало известно взрослым, о заговоре молчания, тайне, глухой и зловещей, о которой они не смели проронить ни слова: о том, что судьбу всех и каждого в нашей самой счастливой стране решало глубоко засекреченное, разветвлённое учреждение, специально пополнявшее свои ряды садистами. Я сказал: историческая личность. Вестник будущего — вот кем он был. Так что, пожалуй, и наш друг и однокашник Юрка Казак, доживи мы все до взрослых лет, стал бы «сотрудником» в долгополой шинели, в фуражке с голубым околышем, со звёздочками на нововведённых погонах. Он был как будто создан для этого будущего. Я говорю: вдруг в самом деле, Казак питал к нам особую привязанность, нуждался в нас, как проголодавшийся хищник нуждается в добыче.

Будущее растило для себя кровавую пищу. Оно готовилось для того, что произойдёт, и уже намечало себе

задачу и высшую цель. Поколение мальчигов, следующее после нас, подрастало для того, чтобы погибнуть на войне. Ожидание большой войны насытило воздух эпохи. Шли тридцатые годы. Какофония века уже звучала, неслышная для нас. Уже были написаны варварски-радостные, дышащие фашистским оптимизмом *Carmine burana* Карла Орфа, уже громыхали, отбивая шаг коваными солдатскими башмаками-калигами по Аппиевой дороге под зовы римских военных букцин, победоносные легионы Цезаря в заключительных тактах симфонической поэмы «Пинии Рима» Отторино Респиги, написана Первая, посвящённая Октябрю, симфония юного Дмитрия Шостаковича.

Мы не чуяли трупного запаха. Не догадывались, что растём на необозримых кладбищах Гражданской войны и гигантской истребительной кампании — коллективизации сельского хозяйства. Насилие и садизм стали опознавательным знаком эпохи, подобно тому, как они правили бал в переулках нашего детства. Ходить одному здесь было опасно. Здесь бушевала фашистская революция подростков: весь район кишел малолетними палачами-истязателями, вечно чего-то ищущими, похожими на грызунов, озабоченно сопящими от непросыхающего насморка, харкающими вокруг себя комками слизи.

Школа 30-х годов была кошмаром. В каждом классе сидели на задних партах, свистели и визжали, изрыгали грязную брань, целились из рогаток и отплёвывались дети-бандиты, вечные второгодники, которых сплавляли, спасаясь от них, из школы в другую школу,



а оттуда ещё куда-нибудь по соседству. Грозой терроризированных педагогов был дракон по имени Семёнов, омерзительная личность, отпрыск криминальных родителей, с жёлтыми глазами, как у дикой кошки, с хлоппающим носом и мокрыми губами; но и он был не один, у него была своя клиентела — подражатели и подчинённые; вся эта нечисть сбивалась в стаи, однажды вышибли из рук портфель, когда я поднимался по лестнице, — был такой случай, — я наклонился поднять и получил удар носком ботинка в лицо, кости носа были сломаны, и кровь ручьём лила на ступеньки, кто-то отвёл меня домой, на другой день я предстал перед врачом, который вправил мне, надавив большим пальцем, скошенную набок переносицу, как потом оказалось, недостаточно, и мучительная процедура повторилась. Это была наша школа Куйбышевского района столицы, там при входе, на постаменте из фанеры, выкрашенной под мрамор, алебастровый вождь отечески обнимал сидящую у него на коленях девочку Мамлакат, которая собрала невероятное количество хлопка. Там учительница, которой не давали войти в класс, сидела за исчерканным мелом столиком перед классом с партами улюлюкающих выроdkов, прикрывая глаза ладонью, чтобы не видели, как она плачет. Такова была наша школа, цапнуть бы за то место, где пах, где на большой перемене в коридоре тебя могли, подкравшись сзади, схватить и повалить на пол, окружить и делать с тобой все, что взбредёт в голову.

## Слушай, друг Сальери

Я заканчиваю свою жизнь банкротом, чему наглядным свидетельством служат тома моих произведений, не имевших успеха и не принёсших мне ни тени материального благополучия. Но в нескончаемые осенние ночи, когда одолевают чёрные мысли, ворочаясь и не находишь себе места в постылой постели, перед слезящимся окном и бессонным циферблатом, — я прибегаю к единственному утешению, пробегаю глазами некогда любимых Флобера и его дорогого Ги, либо перелистываю неподражаемого Хорхе Борхеса. Чего доброго, унижаюсь до того, что отыскиваю наугад в шкафу собственные, давно забытые изделия, читаю в тщеславной надежде вернуть себе крохи самоуважения. И вот, представьте себе, начинает порой казаться, что кое-что написано не так уж плохо!

Вот, например, странноватый рассказ под названием «Опровержение “Чёрного павлина”», вещь, которая нравилась Лоре, обыкновенно не жаловавшей мои писания. По её просьбе я читал вслух эту новеллу, когда, безнадежно больная, она лежала в той самой кровати, с которой я только что поднялся.

Помнится, мне понадобилось, чтобы заставить читателя поверить в никогда не существовавшую, изобретённую мною птицу, просмотреть орнитологиче-

скую литературу о семействе фазановых, о цейлонских подвидах *Pavo cristatus* и *nigropennis*, заодно и пополнить мои скудные сведения об острове, ныне именуемом Республикой Шри-Ланка, где, разумеется, я никогда не бывал. Изнурительные поиски Чёрного павлина заканчиваются тем, что путешественник попадает в деревню, осаждённую готовыми поглотить её джунглями, на исходе дня бредёт, не ведая пути, по едва различимой впотьмах тропе. «И чёрный павлин ночи распахнул надо мною свой усыпанный звёздами хвост».

Собственно, это была история поисков несуществующего, безуспешной погони за несбыточной мечтой, в переносном смысле (согласно одному из возможных толкований) — за недоступной женщиной. И теперь, после стольких лет одиночества, мысленно повторяя совет Бомарше, преподанный пушкинским Сальери Моцарту, я ловлю ускользающий образ той, кто была для меня всем: женой, подругой, сестрой, матерью.

## **Tat twam asi**

Маленькая кукла, высеченная из куска соли, шла по дороге и вышла к берегу моря. Она никогда не видела моря, этой сверкающей на солнце, вечно волнующейся стихии, и спросила: что это такое?

Море ей ответило; подойди ближе, и узнаешь.

Кукла приблизилась и сунула осторожно руку в воду. Вынув руку, она воскликнула:

Что это? Ты отняло у меня палец!

Но зато, отвечало море, ты кое-что узнала.

Кукла всё дальше входила в море, вода смывала с неё крупинки соли, и когда от куклы ничего не осталось, она сказала:

Теперь я знаю. Море — это я!

Tat twam asi (Это — Ты). Завет индуизма.

## Вечный полдень

Из старых записей

Последняя и лучшая, как многие находят, книга стареющего Бунина — созданный в оккупированной Франции цикл ностальгических новелл «Тёмные аллеи» о любви, о юных девушках и зрелых женщинах.

В последнем, предсмертном рассказе Чехова говорится о девушке, которая гостит в усадьбе родственников. Ей скучно, она тяготится затхлым провинциальным существованием, не любит своего жениха и уезжает в столицу, к новой жизни.

Перечитывая «Стенографию конца века» Марка Харитоновна, я набрёл на то место, где сказано, что любовь — единственная, чуть ли не каждому доступная возможность приобщиться хотя бы на мгновение к высшему единству мира. Я стар, много старше Чехова, ровесник позднего Бунина. Но и теперь мне слышится в этой дневниковой записи перекличка с моими стародавними мыслями о юношеской влюблённости. Впоследствии она стало темой многих моих сочинений — романов, рассказов. Как и прежде, я считаю её чрезвычайно важной для литературы.

У меня есть рассказ, где мимоходом упоминается хранимая памятью девушка-конвоир в Бутырской тюрьме. Нет, конечно, какая могла быть тут влюблённость.

Но вижу её как сейчас, в туго подпоясанной шинели, в зимней солдатской шапке над узлом волос, в гремучих сапогах, с пистолетом на бедре. Она сопровождала заключённых — не достаивая их взглядом — в тюремные прогулочные дворы, похожие на полотно Ван Гога. Вот бы узнать, что стало с этой девицей... Много лет спустя я раздвинул свой рассказ, получилось нечто вроде трактата о вечности.

Спрашивается, при чём тут приобщение к высшему единству. О чём речь? Решаюсь процитировать, слегка подправив, собственное произведение.

«Время, в какие бы метафоры его ни обрядить, работает. Эти непрерывные попытки устоять, не слететь с вращающегося круга. Стук колёс, уносящих в будущее, имя которому — смерть, грохот состава, который ведёт безглазый машинист. Но существует вечность. Есть переживание вечности, Вечного Настоящего. Пусть изредка, но посещает ослепительная догадка, что время — временно, и этой временности противостоит нечто пребывающее».

В романе Франсуа Мориака «Подросток былых времён» есть эпизод — возможно, воспоминание самого автора. Подросток увидел вышедшую из реки после купанья 11-летнюю девчушку — «и мне стало ясно, что Бог существует».

Со своей стороны я думаю о другом почти сверхъестественном, под впечатлением мимолётной встречи, видении, которое осеняет чувством постижения платоновской идеи. Что же это было: порыв ветра, мгновенно вспыхнувшее желание обладать юной женщиной? Не

думаю. Юношеская влюблённость, ещё не сознающая себя плотским влечением? Может быть — но и нечто иное: чувство вечности.

Блок:

Дали слепы, дни безгневны,  
Облака плывут.  
В теремах живут царевны.  
Не живут — цветут.

В том-то и дело, что они живут вечно. Для них нет будущего, для них есть только одно настоящее. Я постиг этот хитроумный подвох времени, которое не уничтожает себя, как рельсы несущегося неведомо куда состава, как бегущие над крышей буквы световой рекламы, но попросту отступает, уступает место непреходящему настоящему; я это понял, когда увидел тебя всю, моя красавица, и твои губы всё ещё шевелились, как бы желая сказать: уходи, сюда нельзя, — я понял, что обрёл это утраченное, казалось бы, навсегда, сознание вечности. Ты стоишь, опустив руки, волосы упали тебе на глаза, и полдень длится без конца.

## Жизнь

В былые времена, в потустороннем пристанище снов, я вставал первым. Румяный Гелиос уже нахлёстывал лошадей, стоя между двумя крутящимися колёсами своей повозки, и целился из лука. Я шёл по пустынной улице, стараясь увернуться от стрел, булочная под фирменной вывеской придворного поставщика Hofpfisterei, уже была открыта, за прилавком ожидала покупателей белокурая пышнотелая продавщица, ещё дышащая ночной негой. Она знала меня, не спрашивая, тотчас упаковывала горячие булочки, полбуханки пахучего ржаного хлеба. Я вручал ей кошелёк, она сама вынимала мелочь, сколько нужно, и я плёлся с моей добычей домой. В кухне я готовил чай для Лоры, кофе для себя, разрезал и смазывал конфитюром булочки, раскладывал бутерброды. Моя жена, слегка заспанная, сияющая, как сама заря, в белом байковом халате выходила из коридора.

А бывало и так, что мы оба поднимались спозаранку, наскоро одевались и спускались в подземный гараж. Жена моя усаживалась за рулём, я рядом, и мы катили вдоль по Козима-штрассе, минуя Иоганнескирхен, по автобану в направлении Исманингена, сворачивали в узкий проезд, — всё путешествие до городского озера Ферингазее занимало пятнадцать минут.



Пустынное озеро на рассвете, гладкое и блестящее, как зеркало, под бледно-голубым безоблачным небом, стояло перед нами, слабый плеск смутил его молчание — несколько шагов по росистой траве, и я вхожу в воду Сердитый лебедь, хозяин этих мест, неспешно выплывает из прибрежных зарослей, где, вероятно, он провёл ночь. Яркий свет, голоса незваных гостей разбудили его.

Вслед за мной, ёжась и слабо вскрикивая от прохлады, Лора опасно вступает и уже через несколько минут заплывает так далеко, что я, в тревоге, с трудом различаю её резиновую шапочку. Солнце слепит глаза. Я плыву, отстав от неё, на большом расстоянии, мимо полуострова, который здесь почему-то считается островом. Остров нудистов. Там уже появились первые энтузиасты. Я украдкой оглядываю туда мимоходом или, лучше сказать, мимоплавом, щурясь от блеска вод, зная заранее, что, лишившись одежды, женщины теряют себя — свою тайну и привлекательность.

Мы возвращаемся, нас ждёт роскошный завтрак. Радость жизни, которой учила меня подруга, исчезающая в пристанище сновидений.

## Дворец

Мне снилось — и мнится, так и было въявь, — будто я нахожусь во дворце, хожу из комнаты в комнату, слышу стук своих шагов, одну за другой открываю двери, и они захлопываются за мной. В гулких залах, в переплётках высоких окон сверкает солнце, никого нет. Лишь в одном месте со стула поднимается некто в служебной форме, вероятно, смотритель, наводит на меня вопросительный взгляд, но я не могу объяснить, зачем я здесь, кого ищу, с кем разминулся.

Проснувшись, я смотрю на циферблат, сажусь в постели. Тотчас спохватываюсь, что время идёт, а я ничего не ответил человеку в форме, который уже хотел было меня выпроводить, так как близится время закрытия. Я послушно следую за смотрителем через анфиладу комнат. Мы входим в темноватый смотровой зал, здесь опять ни души. Нет, ни стульев для экскурсантов, ни экрана на задней стене. Оборачиваюсь; куда делся мой вожатый? В полутьме тлеет вполнакала люстра на потолке, тусклое освещение напоминает спальню, где, уходя, я не успел выключить ночник. Но на самом деле это, конечно, не спальня, лепесток огня чахнет в копилке на столе, — лампа, с которой сняли стекло для экономии керосина. В чёрном окошке отражено ошеломлённое лицо подростка, похожее на лицо преступ-

ника, это я, пишущий эту страницу. подойти, что ли, подкрутить фитиль?.. Надо бы досмотреть сон, да не хочется вылезать из тёплой постели, а на дворе мороз, время военное, эвакуация, мне пятнадцать лет, и 22 дивизии врага, окоченевшие от холода немцы, окружены на подступах к Волге под Сталинградом.

Я сижу, задумавшись, с повисшей над тетрадкой дневника вставочкой со стальным пером — тоже обиходная принадлежность тех лет, — и вспоминаю, ведь будущее время можно пережить только во сне, — вспоминаю о том, как однажды ночью мне привиделось, будто я попал во дворец или музей и увидел там себя самого в сорок третьем году, и начинаю понимать, что грядущее не исчерпано, грядущее только начинается.

*2012–2014*

## Кое-что о прозе

Мало что в искусстве значит меньше,  
чем намерения автора.

*Х.Л. Борхес*

### 1

Ночь за ночью без сна, предоставленный самому себе, я думаю о прошлом и будущем, о первой фразе, о знаках препинания, навязчивые мысли не дают отвлечься. Сознание внутренней тщеты и внешней ненужности моей работы не отпускает. Всё спит вокруг. Понемногу светлеет за окном, золотятся облака. Я поднимаюсь.

Я отдаю себе отчёт в том, что попытки объясниться, расшифровать суть и смысл собственного произведения чаще всего ни к чему не приводят — аргентинец прав. И всё же необходимость разобраться в своих намерениях заставляет художника искать оправдание — не столько перед воображаемым читателем, сколько перед самим собой. Попытки эти, однако, не бесплодны. Вырисовывается некая приватная философия прозы. Не избежать и соображений о Времени.

### 2

Как-то раз я написал критический разбор своего рассказа «Прибытие» (это только пример), сюжет ко-

того — фантастическая встреча, минуя возраст, с самим собой — восходит к новелле «25 августа 1983 года» всё того же Хорхе Борхеса, который и сам, как известно, не отказывал себе в удовольствии комментировать собственные творения.

Некоторые из моих вещей как будто предполагают, что мы можем жить не только в трёх временах школьной грамматики, но и в некотором совокупном сверхвремени. В таком случае нам придётся признать, что для каждого из грамматических времён существует своё настоящее, своё прошлое и своё будущее, так что мы можем вспоминать и мимолётное настоящее, и ушедшее прошлое, и несбывшееся будущее. Некоторое устройство, напоминающее машину времени Уэллса, встроенное в мозг, дало бы нам такую возможность. Принимаясь за свою прозу, повествователь убеждается в том, что его воспоминания — не совсем то, о чём он собирался рассказать. Скорее это судороги сбитой с толку памяти, которая вторгается в «сюжет», теряет нить, перепрыгивает, словно мятущийся луч, с места на место, короче, пренебрегает всякой последовательностью. В итоге от нормального повествования мало что остаётся, прошлое, каким его рисует себе рассказчик, всё меньше заслуживает доверия. Минувшее уносит с собой и свое будущее. Но с той же безответственностью, с какой свое нравная память распоряжается прошлым, она распоряжается с будущим. Так рассказчик-баснослов вспоминает не прошлое, которого больше нет, а будущее, которого никогда не будет.

### 3

Прибавлю немного. Наша фантазия, вслед за памятью, освобождённой от оков, играет более важную роль в восприятии вещей, людей и событий, чем это кажется. Бытие вещей состоит в их возможностях. Мир, заряженный бесчисленными возможностями, обступает нас. Воображение удваивает, удесятерит реальность. Фантазия извлекает из действительности её скрытые возможности, наугад переводит стрелки часов и переставляет дорожные указатели, подсказывает иной ритм происшествиям и другое направление поезду событий. Так были написаны повести «Светлояр» и «Помни о будущем». Фантазия насмехается над здравым смыслом и над читателем.

Сказанное влечёт за собой — для меня, по крайней мере — сдвиг художественного мышления. Приходится отказаться от того, что представлялось главной задачей литературы, — обуздания хаотической действительности. Художник, чьё дело — вносить порядок и гармонию в сумятицу и какофонию мира, вынужден усваивать новое мышление, которое следует назвать фасеточным или калейдоскопическим. Как прежде, он не смеет отступить в страхе перед жизнью. Но вера в лейбницианскую предустановленную гармонию вещей поколеблена. Вместо идеально стройного здания художник видит перед собой обломки, которые нужно каким-то образом склеить. В этом, по-видимому, состоит новая задача и обновлённый смысл его работы: не потерять равновесия, взглянуть, как смотрят в разбитое

зеркало, без страха и отвращения в лицо действительности. Итак, пусть эти замечания послужат извинением за все, пусть немногие, небылицы, которыми автор напшиговал своё произведение.

#### 4

Помни о будущем... Вот завет, который автору следовало бы оставить молодым читателям. Мне приходилось много раз писать о юности — моей и моего поколения. Юность не страшится будущего, этой тигриной пасти, дышащей зловонием. Некогда и мы были молоды. Мы не подозревали о том, что из чащи грядущих десятилетий за нами следят жёлтые очи плотоядного будущего. *Monstrum horrendum* Вергилия, «чудище обло, озорно, стозёвно» в переводе Василия Кирилловича Третьяковского, подстерегало нашу жизнь. Перечитывая свои писания, я нахожу, что по существу всё, что было мною сочинено, есть рассказ о прошлом, которое сожрано будущим. Останки недожёванного, объедки каннибальского пира — вот то, что сохранила память.

#### 5

Проза, на мой пристрастный взгляд, должна удовлетворять двум главным требованиям. Назовём их так: красота и внутренняя дистанция.

Возможно, не я один обратил внимание на прискорбный факт: из критических статей, обзоров современной литературы и так далее исчез пароль филосо-

фии искусства — красота. Внимание сосредоточено на содержании, точнее, на выглядывающих из текста актуальных общественно-политических проблемах, Качество прозы не интересует критика, который отдаёт предпочтение писателю — стилистическому инвалиду и равнодушен к редким свидетельствам абсолютного слуха в современной ему словесности.

Греческое слово *αμουσία*, «безмузие», означало чуждость искусству, — эстетическую глухоту. Безмузыкальность — черта плохой литературы.

Нечто общее роднит мастеров прозы разных эпох: особый строй повествования. Этот неслышно звучащий строй есть музыка.

Искусство прозы обнаруживает внутреннюю близость словесной музыкальной композиции. Здесь нет речи о так называемой гладкописи, равно как и о поэтической, стиховой музыкальности, легко улавливаемой, проще определяемой. Музыка прозы тоньше, нюансированней, прихотливей. Очевидно, что критик должен уметь взглянуть на явления литературы глазами человека, не чуждого другим искусствам. Ориентация в мире музыки важна для собственно литературной критики, то есть для анализа литературы как таковой, — и, похоже, не столь необходима для критики социологической. Если верно, что музыка выражает всю полноту внутренней жизни человека — то есть на свой лад осуществляет высший проект литературы, — то это значит, что прикоснуться к истокам литературного творчества, заглянуть в тёмную глубину, где сплетаются корни словесности, музыки и философии, немислимо без знакомства с ис-



торией классической музыки; невозможно понять, как устроен роман, не ведая законов и правил компонования симфонии — музыкального аналога европейского романа.

Совершенный стиль предполагает развитый вкус, верное чувство слова, экономное использование изобразительных средств, энергию и лаконизм фразировки, основательную выучку у классиков русского языка. Ритм фразы, обдуманное распределение ударений, звуковая завершённость абзаца, смена тональностей, диалектика борьбы и взаимного преодоления главной и побочной темы, несущие конструкции, которые, как поперечные балки, проходят через всё здание, выдерживают его тяжесть, — во всём проявляет себя музыкальная природа прозы.

Музыка, говорит Шопенгауэр, есть голос глубочайшей сущности мира. Музыкальные структуры — структуры бытия. Есть основания утверждать, что сходную задачу своими средствами выполняет художественная проза.

## 6

Ребёнок, занятый игрой, верит, что его игрушки — живые существа, готов считать ситуацию игры реальной действительностью и в то же время отстраняться от неё: поглощённый ею, он отдаёт себе отчёт в том, что всё, что происходит, всё — понарошку: присущая детям трезвость отнюдь не лишает их способности фантазировать.

Этому двойному дару соблюдать конвенцию игры и дистанцироваться от её законов, от неё самой, может позавидовать тот, кто посвятил себя высокой игре — художественной словесности. Внутренняя рефлексия, размышления писателя о себе как авторе, апелляция к собственному произведению внутри самого произведения — так что философствование в этом роде становится в свою очередь художественным приёмом и встраивается в мир романа, — авторская рефлексия, говорю я, по крайней мере, с появлением «Фальшивомонетчиков» Андре Жида стала чертой литературы минувшего и нынешнего веков.

Писатель Эдуард, персонаж и автор романа «Фальшивомонетки», принадлежащего другому романисту, некоему А. Жиду, ведёт дневник, обсуждает собственную работу, анализирует поступки действующих лиц, с которыми, кстати, он лично знаком. Спустя несколько лет Жид сам выпустил «Дневник “Фальшивомонетчиков”». Двойная и даже тройная дистанция.

## Париж и всё на свете

### I

...Итак, я поселился «на Холме», à la Butte, как здесь говорят; когда вы бредёте от бульвара Клиши вверх по улице Лепик, мимо мясных, овощных, рыбных лавок, мимо выставки сыров, киоска с газетами всего мира, кондитерских, кафе, китайских рестораничков, по узкому тротуару, где теснится народ, но никто никого не толкает, где играют, сидя на корточках, дети, где какая-нибудь девушка вам улыбнётся, не думая о вас, где торчат такие же бездельники, как вы, где звучит стремительная речь, где журчит смех, — и дальше по улице дез-Аббесс, мимо кафе «Дюрер», мимо какого-то русского ресторана, мимо книжного магазина, где вам зачем-то понадобился «Le Disciple» забытого Поля Бурже и вы лавируете между стопками книг на полу, и вниз по дез-Аббесс, и снова вверх, и поворачиваете к Трём братьям, попадаете на маленькую площадь, к дому-пристанищу поэтов, художников и актёров со смешным названием Bateau-Lavoir, что можно перевести как Корабль-умывальный или Мостки для полоскания белья, — кто тут только не побывал, здесь ошивались Ван Донген, Хуан Гри, Модильяни и толстая муза Аполлинера Мари Лорансен,

Пикассо писал здесь «Авиньонских барышень», — когда вы снова каким-то образом оказываетесь на улице Лепик, которая кружила следом за вами, и опять вверх, и опять вниз, — то кажется, что вы, как землемер К. до замка графа Вествест, никогда не доберётесь до Холма в собственном смысле, хоть и видите его над домами то там, то здесь, в перспективе тесной улочки, за купами деревьев, — и вот, наконец, остановка: крутая, с многими маршами лестница. Минут двадцать займёт последнее восхождение. Или вы можете встать в очередь перед фуникулёром. Или подойти вплотную по верхним улочкам Монмартра. Теперь она вся перед вами: полуроманская, полувизантийская, с белыми, круглыми, как сосцы, продолговатыми башнями-куполами церковь Святого Сердца, Sacré-Coeur. С крыши портала два всадника, король Людовик Святой с крестом и Жанна д'Арк с поднятым мечом, визируют на весь Париж.

## II

О Париже сказано всё, как о любви — всё, что можно сказать; и в Париж приезжаешь, как будто возвращаешься к старой любви. Даже тот, кто окажется здесь впервые, почувствует, что он уже был здесь когда-то. В других городах ощущаешь себя пришельцем, гостем, паломником, туристом; в Копенгагене, волшебном городе, чувствуешь себя туристом; во Флоренции чувствуешь себя гостем. В Венецию приезжаешь, чтобы увидеть Пьяцетту в вечерней мгле, зыбкие воды

и тусклые отблески дальних огней, и почти невидимую в темноте громаду Святой Марии Спасения по ту сторону Большого канала, проплыть, отдавая дань ритуалу, по ночным водам в чёрной лакированной гондоле, вспомнить всё, что было читано, слышано, увидено на экране, — и остаться гостем. В Чикаго, с его downtown, чья красота и величие превосходят воображение европейца, с огромным, как море, озером Мичиган, с молниями автострад, уносящихся к бесконечно далёкому горизонту за сплошными, во всю стену стёклами ночного затемнённого кафе на девяносто шестом этаже небоскрёба Хенкок, — говорят, оттуда видно четыре штата, — в Чикаго, хоть ты и бываешь там чаще, чем в Москве, остаёшься чужестранцем. И, покидая Венецию, покидая Чикаго, думаешь: когда-нибудь приеду снова. Простившись с Парижем, тотчас начинаешь скучать. Тосковать — по чему? Невозможно сказать. Да всё по тому же: по мрачной башне Сен-Жермен-де-Пре на перекрестке искусств и литературы, *carrefour des lettres et des arts*, как кто-то назвал его, — с недавних пор здесь красуется табличка: «Площадь Сартра и Симоны де Бовуар», славная чета сживала в кафе Флор, в двух шагах отсюда, — по вовсе не знаменитому маленькому кафе напротив старого дома на углу улиц Бюси и св. Григория Турского, где я прожил однажды шесть счастливых дней, куда заворачиваю каждый раз, каждый год. По набережным Левого берега, по шкафам, лоткам и стендам букинистов — кто только не рылся в них, — по Мосту искусств и Новому мосту, который на самом деле самый старый, ему без малого че-

тыре века. В Париже мы все жили ещё прежде, чем там оказались. Что это: свойство парижского воздуха или заслуга французской литературы?

### III

Париж не меняется — по крайней мере, так утверждает молва, — и не потому ли, что этот город, как никакой другой, наделён способностью принять тебя как своего. Не зря он был назван столицей девятнадцатого века, и, в самом деле, можно лишь удивляться тому, что всё в этом городе существует по сей день: и крутые крыши с мансардами, и дома без лифтов, и скрипучие лестницы, и окна до пола, наполовину забранные снаружи узорными решётками. Дешёвое барахло, вываленное из магазинов прямо под ноги проходим, розы, попрошайки, старики на скамейках — всё как встарь, город давно смирился со своей ролью быть ночлежкой великих теней, огромным словарём цитат, и всё так же течёт Сена под мостом Мирабо, с которого некогда смотрел на воду поэт, дивясь тому, что всё ещё жив, и высоко вдали непременно Монмартр с сахарной головой Святого Сердца. Я прекрасно понимаю, что и то, о чём я говорю, — повторение сказанного тысячу раз.

Ах, поздно мы проторили сюда дорожку. В Париже нужно жить в юности. В Париж нужно приехать, чтобы сделать его органом своей души, а не только частью наскоро усвоенной культуры; нужно сделать так, чтобы всегда, как память о собственной жизни, стояли

перед глазами эти мосты над рекой в солнечном тумане, эти дворцы и площади одна другой краше: Старый Париж — город архитектурных ансамблей, куда ни повернешь, повсюду эти изумительно продуманные, стройные, разумные и прихотливые свидетельства градостроительного гения, которые примиряют тебя с историей, заставляют верить, что труд поколений не пропадает даром.

В одном стихотворении Арагона говорится, что птицы, летящие в Африку из Северной Атлантики, опускаются, как на протянутую руку, на территорию Франции. Очертания страны напоминают ладонь. Франция открыта двум морям. О двух этнических фундаментах, образовавших нацию, кельтском и романском, писал Андре Зигфрид ещё каких-нибудь полвека назад. Сравните портрет нормандца Флобера — короткая шея, широкое мясистое лицо и вислые усы старого галла — с физиономией узколицего аскета с впалыми щеками, уроженца Бордо Франсуа Мориака, вы увидите два характерных французских типа. Но сегодня, глядя на толпу в парижском метро, где каждый четвёртый — выходец или сын выходцев из стран бывшего Французского Союза, потомок и представитель чёрного человечества, для которого не существовало Греции, Рима, Средневековья, Ренессанса, Нового времени, Революции, думаешь о том, что к двум фундаментам нужно добавить третий, африканский, что здесь происходит рождение новой цивилизации, о которой сегодня мы ничего не можем сказать, и городу предстоит разродиться ею и выдержать ее натиск.

## IV

Бродить по городу, сидеть в парках, заглядывать «в вертепы чудные музеев» — после обеда. Зато с утра, проглотив завтрак (довольно скверный в сравнении с немецкими, австрийскими или заокеанскими гостиницами), мы поднимаемся к себе в номер, мы вперяемся в молочный экран. Не начать ли нам, братие, трудных повестей...

Увы, начинали не раз. Роберт Музиль жаловался, что у него в чернильнице асфальт вместо чернил, а в другом письме сравнивал себя с человеком, который пытается зашнуровать футбольный мяч размером больше, чем он сам, — а мячик меж тем всё раздувается. Нужно отдать себе внятный отчёт, в чём состоит задание. О чём мы, собственно, собираемся поведать миру? Похоже, что записывание мыслей о романе — суррогат самого романа. Графоманский зуд, порождённый страхом перед пустыней экрана.

Написать о том, как некто собрался писать грандиозный роман-панораму своего времени, вместо этого он пишет о том, как этот роман не удаётся. Ибо время ненавидит таких, как он. Написать роман о писателе-отщепенце.

Написать роман о сером, неинтересном человеке без имени, без биографии, без профессии, без семьи, о человеке, которого только так и можно назвать: некто. О субъекте, чья бесцветность оправдана лишь тем, что ему выпало стать свидетелем эпохи, враждебной всякому своеобразию, и когда, наконец, он взялся за



дело, уселся за компьютер, — он остаётся тем же, кем был: песчинкой в песочных часах. Нет, мы не призваны на пир всеблагих, мы не зрители высоких зрелищ, куда там, — мутный вихрь увлѣк нас за собой, скажем спасибо родине, что удалось унести ноги, возблагодарим судьбу и злодейское государство за то, что они оставили нас в живых.

## V

Говорят, роман умер. Умер как литературный жанр, опустился на дно, как Атлантида. Это утешает. Значит, дело не только в неудачливом сочинителе. Это даже не новость: покойник умирал не раз. Осип Мандельштам толковал о крушении человеческих биографий в эпоху великих социальных потрясений, что означало, по его мнению, крах европейского романа — «законченного в себе повествования о судьбе одного лица». Натали Саррот (спустя тридцать лет) объясняла, что персонажи классической прозы, пресловутые характеры, — это фикции: реальная человеческая личность неуловима, непредсказуема; судьба вымышленных героев, сюжет, интрига — всё это износилось до дыр; роман, каким мы его знали со времён поздней античности, изжил себя. «Вот почему, когда писатель задумывает рассказать какую-нибудь историю и представляет себе, с какой издёвкой взглянет на это читатель, — им овладевают сомнения, рука не поднимается, — нет, он решительно не в силах».

De te fabula narratur — сказано о нас с тобой, приятель.

И, однако, погребение не состоялось, и с тех пор панихиду по роману справляли ещё много раз.

Роман возрождается, как Феникс, в новом оперении, чтобы умереть в очередной раз. Роман умирает всякий раз после того, как появляется реформатор романа. Мандельштам объявил роман «Жан-Кристоф» последним произведением этого жанра; но Ромен Роллан не был новатором. Зато после Пруста стало в самом деле казаться, что писать романы больше невозможно. Андре Жид в «Фальшивомонетчиках» вновь поставил дальнейшее существование романа под сомнение. Вирджиния Вульф («Миссис Деллоуэй») ещё раз заставила серьёзно задуматься о жизнеспособности романного сочинительства. Автор «Улисса» подвёл под романом окончательную черту. Кафка сызнова закрыл роман. Музиль, оставшись в лабиринте один на один со своим романом-Минотавром, пал в единоборстве, но успел нанести роману смертельный удар.

Король умер — да здравствует король!

## VI

Эпоха ставит сочинителя перед вызовом, а сочинитель дрожащим голосом бросает вызов «эпохе». Я подумал, что заметки «по поводу», может быть, столкнут с места мою работу. Писать о том, что проза не вытанцовывается, роман не даётся? Но ведь это означает, что где-то в неведомых далях его персонажи всё-таки живы и машут руками — то ли прощаются, то ли зовут к себе.

Отсюда, между прочим, вытекает, что роман в лучшем случае может состоять лишь из фрагментов. Что такое фрагмент (от *frango*, ломаю)? Обломок чего-то; нечто начатое и брошенное. Но вот появилась эстетика фрагмента, стилистика фрагмента, наконец, филология и даже философия фрагмента.

Это эпоха фрагментарного сочинительства. Это какие-то недописатели, они всё не дописывают. Мерное, последовательное повествование — достояние других времён, когда герой романа был субъектом исторического процесса. Сейчас он только объект истории.

Век миновал, «наш» век, — не хотели бы мы, недобитые жертвы, принадлежать этому гнусному веку! Но что было, то было, и, мнится, время подбить итог. Найти общий знаменатель, соединить диагоналями события, как соединяют линиями звёзды на карте неба. Пусть в действительности светила удалены друг от друга на огромные расстояния — для наблюдателя это созвездие, нечто целое. Скажут, что получается круг, называемый *petitio principii*: задавшись вопросом о характере эпохи, мы тем самым уже исходим из представления о целостной эпохе. Между тем ещё предстоит собрать её по кусочкам, как скелет ископаемого ящера, и Бог знает, получится ли что-нибудь путное из разрозненных обломков.

Самые разные события происходят в одно время, под общим знаком, но лишь годы спустя осеняет мысль о тайной переключке, о взаимозависимости; эта зависимость кажется объективным фактом. На самом деле она представляет собой умозрительный конст-

рукт. Но ведь именно так пишется летопись времени. Так скрепляются проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Выглядел ли он таким на самом деле?

## VII

От памяти никуда не денешься. Гипертрофия памяти — старческий недуг наподобие гипертрофии предстательной железы. Молодость побеждает агрессию памяти, молодость, собственно, и есть победа над памятью, забвение — механизм защиты; мы молоды, покуда способны забывать. Но незаметно, неотвратно наши окна покрываются копотью воспоминаний. Отложения памяти, как известь, накапливаются в мозгу. Старение — потеря способности забывать. Вот что это такое. Бессонница воспоминаний. Сидение без сна перед домашним экраном, на котором проплывают очертания материков под мурлыканье космической музыки. На самом деле перед глазами проплывают годы. Мы умираем, раздавленные этим бременем.

Но прежде мы успеваем заметить, что историей правит случай. словно великий Романист раздумывал, какой сюжетный ход ему избрать, и в конце концов хватался за что попало.

В каждом сюжете скрывается неисчислимое множество вариантов, и каждая страница, как и всякий день жизни, — перекрёсток многих дорог. Куда направиться? Почему отдано предпочтение этому варианту, а не дру-

гому? Невозможно отделаться от мысли, что самыми важными поворотами жизни мы обязаны случайности, и не то же ли совершается в истории? Рим (говорит Паскаль) постигла бы иная судьба, будь у царицы Клеопатры нос на полдюйма длиннее. Что мешало военному губернатору Иудеи вздёрнуть на позорный столб уголовного преступника Варавву, а Иисуса помиловать? Последующие века выглядели бы по-иному.

Стрелочник перевёл стрелку, и поезд послушно свернул на другой путь, и вот уже другой пейзаж бежит за окошком, другие станции, другие земли. Тот, кто, подобно историку, смотрит назад, видит много рельсовых путей, все они сходятся к одному единственному пути; но для того, кто смотрит вперёд, веер дорог не сужается, а раздвигается. Лишь одна из многих возможностей будет реализована. Однако и прошлое когда-то было будущим. Всякая история есть всего лишь осуществившийся вариант. Подчас вероятность случиться тому, что не случилось, была ничуть не меньше того, что случилось. Так в старости женщина с сожалением вспоминает о претендентах на её руку, которым она отказала. Вместо этого вышла за какого-то сморчка. Так шахматист раздумывает над проигранной партией, вновь расставляет фигуры и переигрывает игру.

«Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай...»

## VIII

Гигантская тень нависла над русской литературой: тень Льва Толстого. Несчастливая уверенность в том, что

жизнь нации бесконечно важнее, чем жизнь и участь отдельного человека, настолько велика, что побуждает сочинять народно-исторические эпопеи до сих пор.

Замысел кажется величественным, вдохновляет, окрыляет, а как дошло дело до исполнения... Медуза переливалась красками радуги, пока плыла в воде, стоит её выловить — комок бесцветной слизи.

Произведение, сказал Беньямин, — это посмертная маска замысла. (Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption.)

Странно, что никто (по-видимому) не задумался всерьёз, отчего потерпела фиаско эпопея самого знаменитого прозаика наших дней. Замысел был пограндиозней «Войны и мира». Ответ как будто лежит на ладони: идеолог пожрал художника; писателя погребла лавина документального материала; приёмы письма и гротескный слог сделали прозу неудобочитаемой; оставаясь в веригах устарелой поэтики, романист спасовал перед областью действительности, запредельной его жизненному опыту. К этому можно добавить несколько частных неудач и прежде всего неумение создавать женские образы, пробный камень всякого беллетриста. Всё это так. И всё же коренная причина лежит глубже. Фатальной ошибкой была презумпция архаического жанра. Проект всеохватного эпоса, в котором судьба и поступки действующих лиц, будь то царь или крестьянин, купец или революционер, должны выглядеть как отражение истории, был заведомо обречён. Хочешь не хочешь, а роль персонажей становится функциональной. Им незачем оставаться живыми

людьми, жить собственной жизнью: они кого-то — или что-то — «представляют». От этой патриотической или антипатриотической роли — злополучной иллюстративности — им некуда деться. Многоосная музейная колесница с паровым котлом, неприспособленная для современных дорог и скоростей, ползла еле-еле и, наконец, стала. В который раз пришлось убедиться, что время монструозных эпопей прошло совершенно так же, как «умчался век эпических поэм».

## IX

В третьей главе «Улисса» Стивен Дедалус произносит фразу, которую, должно быть, не раз повторял его создатель: «История — это кошмар, от которого я пытаюсь очнуться». Говорят, Джойс, узнав о начале Мировой войны, сказал: а как же мой роман?

Снова задаёшь себе вопрос, возможно ли связать то, что никак не связывается, найти волшебное уравнение литературы, соединить два времени, историческое и человеческое. Мы оказались в ситуации тотального отчуждения человека от истории. Никогда прежде зловещие призраки Политики, Нации, Державы, Славного Прошлого и как они там ещё называются — не вмешивались так беспардонно в жизнь каждого человека, не норовили сесть с ним за обеденный стол и улечься в его постель. Никогда человеческие ценности не были до такой степени девальвированы, никогда стоимость человеческой жизни не падала так низко. И, может быть, литература — единственное, что у нас

осталось на обломках веры в исторический разум, литература, которая всё ещё отстаивает суверенность личности, литература, последний бастион человечности. Может быть, поэтому роман и остался в живых.

## Х

Итак, я приземлился в CDG. Аббревиатура, означающая: Шарль де Голль. Огромный аэропорт раскинулся на северо-востоке от города. До Монмартра не так уж далеко. Миновали ворота Ла-Шапель, свернули с бульвара маршала Нея к авеню Клиши, подъехали к устью сбегаящей вниз узкой мощёной улочки, таксист извлекает багаж из багажника. Пятнадцать шагов вверх по улице Толозе, пешком, чемодан на колёсиках, лептоп в сумке через плечо.

Просят извинения: только что съехал прежний постоялец, в номере ещё не прибрано. Выйдем на улицу в рассуждении закусить где-нибудь рядом. Весенний день, будничная суета, и чувство внезапного счастья от знакомого запаха дрянной кухни из подвальных окон соседнего дома. Счастья вернуться в Париж.



## Сильваплана и Отель искусств

### 1

Я не мог отдышаться от приступов кашля: днём и ночью хищная птица долбила своим клювом, терзала грудь. Мы последовали совету нашего доброго ангела, доктора Анны Гуцель, переменить места и отправились наугад в нашем опель-кадетт из Баварии через Австрийский Тироль в Швейцарию. Моя жена сидела за рулём. Дворник-стеклоочиститель метался, смывая воду, по лобовому стеклу, дождь и кашель сопровождали нас всю дорогу. Высота уже давала себя знать. Миновали долину Инна, об эту пору довольно бурного. Верхний Энгадин приветствовал вывесками на странноватом ретороманском языке.

Туристический сезон был позади. Санкт-Мориц обезлюдел в ожидании зимы. Пустынное Сильвапланское озеро под набухшими серыми облаками поблескивало сквозь заросли тусклым оловом. Что-то оставило нас, не хотелось оставаться здесь, развернулись и покатали, стараясь держаться берега. Миновали деревеньку Сильс-Мария, где обуреваемый безумными идеями Ницше сражался с головной болью и наступающей слепотой. Следующим пунктом была деревня под названием Сильваплана.

Машина затормозила перед крыльцом первой попавшейся гостиницы. В Rezeption круглощёкая и черноглазая со вздёрнутым носиком юной крестьянки барышня в просторной юбке, с корсажем и фартуком, стоя за стойкой, испуганно глядела на меня, приняв за тяжелобольного. Я давился от кашля, заказывая двухспальный номер.

Тень автора «Заратустры» и не покидала меня. Я вспомнил магазинчик в конце улицы Герцена, бывшей Большой Никитской, перед её впадением в площадь Никитских ворот; на прилавке лежал томик в твёрдом переплёте, «Рождение трагедии из духа музыки», издание 1912 года, перевод Рачинского, дореволюционная орфография.

Это было весёлое и суматошное время, кончилась война, мне было 17 лет. Я купил антикварную книгу по неправдоподобно низкой цене.

...Всё тогда находилось поблизости, в двух шагах от университета, где в тесных коридорах и комнатухах Старого здания Доменико Жилярди помещался филологический факультет: и улица Герцена внизу под нашими окнами, по которой шёл, звеня и сворачивая направо от Манежа, трамвай, и книжная лавка, где дожидалось покупателя «Рождение трагедии из духа музыки», и Большой зал консерватории с профилем Николая Рубинштейна над овалом сцены, и мраморные медальоны великих композиторов на стенах под глубокими окнами. Будущее стояло на пороге, как посыльный с цветами.

Всё происходило одновременно в ту приснопамятную осень первого послевоенного года, и было вно-

ве: классические языки, увлечение романтической философией автора «Мира как воли и представления», первое, триумфальное исполнение Полёта валькирий и Вступления к третьему действию «Лоэнгрин» в Большом зале... Так для меня возродилась триада Томаса Манна: Ницше, Вагнер, Шопенгауэр, музыка гармонического трезвучия и классический идеализм, так отворились ворота в германский и античный мир.

## 2

Мальчик в форменной курточке отвёл нас в номер. Утром в полупустом зале гостиничной столовой мы уселись вдвоём перед глыбами ароматного жёлто-маслянистого сыра, многоочитым омлетом, ломтями душистого хлеба, расписными кружками с горячим кофе, лицом к лицу с рослым длинноносым кофейником.

Покончив с завтраком, решили мы прогуляться. Вокруг по-прежнему ни души. Дождь, без устали моросивший которые сутки, словно бы решил передохнуть. Замечталась и злобная клювастая птица — чудом прекратился кашель. Моя жена недоверчиво поглядывала на белёдые облака. Я должен был её развлечь — как умел, — толковал о Ницше, вспомнил знаменитое «Бог умер» и, наконец, предложил послушать содержание ещё не написанной новеллы, которая до сих пор напоминает мне тот пасмурный день в Энгадине. Называлась она «Действо о Картафиле», перескажу её сейчас.

Cartaphilus — одно из имён легендарного иерусалимского сапожника Агасфера, иначе Вечного Жида.

Это была якобы почерпнутая из рукописи XVI века история о том, как древний скиталец постучался к знаменитому астрологу и магу Агриппе Неттесгеймскому. Некогда Картафил, отказался помочь человеку с крестом, нести на себе орудие предстоящей казни. Иди, иди, сказал он Иисусу. На что Спаситель ответил: Я пойду, а ты будешь ходить по земле до той поры, пока Я не приду снова. С тех пор Агасфер, живое олицетворение еврейского народа, так и бродит, за пятнадцать веков превратился в древнего старца и безмерно устал от своего бессмертия.

Услышав об удивительном изобретении Агриппы, хроноскопе, позволяющем видеть будущее, Вечный Жид явился просить чудодея открыть ему, когда наступит конец его скитаниям.

Мы брели вдоль берега, неподвижная гладь озера была того же цвета, что и жемчужно-серое небо над нами. Смеркалось. Я рассказывал...

Аппарат стоял в углу рабочего кабинета Агриппы — кристалл, подвешенный между двумя зеркалами. Хозяин предупредил гостя, что эксперимент опасен. Очутившись в будущем времени, испытуемый должен стать не только очевидцем, но и участником происходящего. Но старику кроме привычных издевательств терять было нечего. Вот, проворчал он, гонят и заушают меня везде. И в церквах меня проклинают, и собак на меня натравливают. А того не понимают, что я — единственный живой свидетель. Где доказательства, что ваш Христос существовал на самом деле? Нет таких доказательств! Я один из всех ныне живущих на земле видел его, живым, вот как тебя вижу.

Гость сидит перед волшебным прибором, кристалл оживает, теплится жёлтым светом, Картафил ничего не видит. Это потому, отвечает Агриппа, что ты сам — внутри кристалла. Старец что-то бормочет, раскачивается, не слышит вопросов учёного.

В этом месте тропинка, огибающая озеро, поворачивает. Двинулись дальше, по противоположному берегу. Отсюда открывается вид на деревню, шпиль кальвинистской церкви. Высоко вдали голубоватая цепь гор.

Опыт окончен, Картафил возвращается — откуда? Постепенно приходит в себя. Что он там увидел? Оказывается, Распятый выполнил своё обещание! Вечный Жидь вновь стал свидетелем — очевидцем грядущего Второго пришествия. Но не он один. Картафил очутился в длинной очереди перед кирпичным зданием с длинной трубой. Охранники в чёрном подгоняли ко входу мужчин и женщин, и детей, и ветхих стариков, и матерей с младенцами на руках. Рядом с собой изумлённый Картафил замечает Того, кто влачил крест в Иерусалиме и обещал вернуться.

Ты бредишь, вскричал Агриппа. Или лжёшь Ты Его узнал? В самом деле Его увидел?

Как тебя вижу, отвечал Картафил.

И Он шёл вместе с вами? Этого не может быть.

Вместе с нами. В дом смерти.

Он не может умереть. Он Сын Божий!

Он сын нашего народа, возразил Агасфер.

Мы повернули обратно, но я не договорил. Рассказ, по замыслу автора, должен был закончиться тем, что Агасфер потребовал послать его назад в будущее. Вспы-

хивает кристалл. Комната заполнилась едким дымом. Тянет гарью. Это запах обгорелых костей. Агриппа фон Неттесгейм озирается. Никого нет. Пришелец исчез. Вечный Жид не вернулся, пришёл конец его скитаниям, он погиб, сгинул в газовой камере и сгорел со всеми в печах Освенцима, и судьбу шести миллионов его соплеменников разделил основатель религии любви и всепрощения. Двадцатый век подвёл черту. Рухнуло вместе с народом, породившим эту религию, и христианство.

### 3

По-прежнему безлюден за недостатком туристов скромный отель. Моя жена, удрученная рассказом, который ей не понравился, утомленная долгой прогулкой, непривычной высотой, раскладывает постель, укладывается и тотчас засыпает. Какое это было наслаждение лежать рядышком под тёплым одеялом, в тишине и неге, за тысячу вёрст от недоброго отечества, вдали от всего мира!

\*

Обыкновенно, по прибытии в аэропорт CDG, что означает Шарль де Голль, садясь в машину, я называл шофёру малознаменитую улицу Толозе. Таксист вёз меня на север, к холму, который римляне называли Марсовой горой, а монахи XII века — Монмартр. Предстояла трудная задача, оставив позади знакомые улицы Лепик, дез-Аббесс, Жозеф де Местр, мимо площади Бланш и бульвара Клиши, протиснуться к узенькой горбатой улочке Толозе.

Скучный, бесформенный и монотонный роман Генри Миллера «Тихие дни в Клиши» с первой же страницы, как обычно у этого автора, превращается в рекламу генитальной доблести сочинителя. Неоконченные воспоминания другого американца, Эрнеста Хемингуэя, о Париже его молодости, под удачно предложенным переводчицей названием «Праздник, который всегда с тобой» (взамен оригинального A Moveable Feast), лучше всего передают настроение неувядающего праздника, которое испытывал и я всякий раз, навещая город-светоч.

В те годы я останавливался в маленькой гостинице под громкой вывеской «Отель искусств», где меня знали. В девять утра я выходил из моего, всегда одного и того же номера 40 с окном, заглядывающим в колодец двора, спускался в бельэтаж, садился в столовой за столик с ожидавшим меня со стаканом апельсинового сока и завернутым в бумажную салфетку столовым прибором, перекидывался словечком с высоким и тощим, в белом одеянии, буфетчиком, цедил кофе из никелированного цилиндра, с тарелкой в руках совершал утренний обход разложенного напоказ провианта. Закончив с завтраком, возвращался в лифте с приклепленным к стенке кабины плакатом Тулуз-Лотрека к себе в номер.

Наступало время утренней уборки; я просил чёрную горничную прийти попозже. Я писал рассказ о волке — один из последних с тех пор, как остался без Лоры.

Фантазия должна опираться на реальность, чтобы получить право и привилегию преобразовать реаль-

ность. Волков я видел только в зоопарке. В рассказе мне нужны были убедительные детали, для чего понадобилось заблаговременно проштудировать специальную литературу.

Начало полумифологического произведения под названием «Сталь и плоть» я помню до сих пор и охотно цитирую.

«Не каждому дано понять, в чём его предназначение. Долгое время тот, о ком здесь пойдёт речь, жил так, как если бы смысл жизни состоял в ней самой: просто жить и производить потомство. Правда, он не слишком заботился о своих детях...»

И так далее.

О волке частью повествовал сам автор. Частью же рассказывал о себе вымышленный персонаж.

Он был волк-одиночка, вечный бродяга, красивый и надменный, который бросал своих подруг, представляя им заботиться о потомстве, и любил только свою мать. Некогда мать спасла его от облавы, увела тайными тропами в непроходимые леса за большой рекой. Она научила его гордиться знатным происхождением, показывала ночные созвездия — небесное жилище предков, куда впоследствии переселилась и она.

Однажды случилось несчастье — волк попался в капкан. Была зима. В неописуемых муках, после многих, тщетных попыток освободиться, он перегрыз лапу, застрявшую в стальных челюстях. Снег вокруг краснел от крови, разбросанный судорожными прыжками. Измученный пленник не сдавался. Последние силы были израсходованы. От нестерпимой боли и кровопотери волк потерял сознание. Наконец, он умер.



Из небытия явился ему призрак матери. Он очнулся. Ему казалось, что прошли годы. Солнце осветило верхушки деревьев, и тайга зазвенела птичьими голосами. Снег стаял, потекли ручьи. Земля под тремя лапами волка расступилась. Удалось выследить узкоглазого виновника его страданий. Прыгая, он осторожно приблизился к избе охотника. Дворовый пёс залаял. Хозяин в шубе и лисьем малахае вышел с двустволкой. Пёс бесновался: Стреляй в него! Волк не пошевелился. Он понимал плебейский диалект собак, этого племени рабов и предателей, он мог без труда расправиться с ними. Аристократ до мозга костей, он считал ниже своего достоинства вступать в драку. Охотник вскинул ружьё. Волк смотрел, не мигая, в дуло, наставленное на него. Прогремел выстрел. Здесь я поставил точку

Полдень, в Париже — время второго завтрака, для россиянина — обеденное; я выхожу из Отеля искусств, по шумной Лепик бреду в толпе к метро Бланш, в рассуждении чем бы подкрепиться у китайцев в квартале Бельвиль или в Рамбуто, в не слишком грозящей кошельку народной харчевне напротив Центра Помпиду.

Я оказался не один на опустевшей эспланаде перед диковинной громадой. Смуглая девушка-индеанка не знает, куда себя деть. Студентка из Колумбии, позабыла (как и я), что сегодня пятница, превосходная картинная галерея закрыта. Куда теперь? Глядит на меня вопросительно. Мне показалось, потянулась ко мне. То был минутный соблазн.

Я отправляюсь бродить...

«Париж, столица Девятнадцатого века». Вспомнилась мне фраза Вальтера Беньямина: в городе надо учиться не умению находить дорогу, а умению заблудиться.

Я оказался в Марэ, сижу на площади Вогезов в виду конной статуи Людовика XIII. Плетусь наугад по улице Тампль. Во дворе бывшей гостиницы Сент-Эньян за купами зелени прячется Музей искусства и истории иудаизма, куда вступают через хитроумно перегороженный вход с висячей камерой (мало ли что может случиться). Посредине двора капитан французской армии Альфред Дрейфус, стоя навытяжку, салютует обломком сабли.

Я намеревался подарить музейной библиотеке изящный томик в красной обложке с шахматным конём. Французское издание моей повести-притчи «Час короля». Вероятно, художник имел в виду сцену, где мой герой играет с приятелем и проигрывает партию. Король белых, шахматный монарх в мундире подшефного лейб-эскадрона, с жёлтой шестиугольной звездой на груди, размахивает деревянным мечом перед строем чёрных ландскнехтов.

Бродить, шататься по улицам любимого города — чего ещё можно желать в жизни?

## Катабасис<sup>1</sup>

Никого не было. Ни звука в коридоре. Серый зимний день сочился в окно. Он — удобней будет говорить о себе в третьем лице, как если бы я одолжил память у кого-нибудь другого, — он сидел над учебниками, когда послышался шорох, кто-то там крался. Робко приоткрылась дверь. Студент поднял голову. Она вошла, стараясь преодолеть смущение. Он улыбнулся скорее из вежливости. Он был занят.

Была такая на старшем курсе и на один год старше, по имени Фаина, или попросту Фая. Он всё ещё сидел спиной к ней; она решилась. Молча, обойдя стол, обняла сзади сидящего и прижалась, давая почувствовать близость своего тела. Это был отважный шаг. Неожиданно стукнуло что-то снаружи, она отпрянула.

В пустом и холодном коридоре общежития, под сиротливыми лампочками, по-прежнему всё молчало. Время остановилось. Девушка шагала, минуя одну дверь за другой, мужчина следовал за ней, как тень. Она была невысокого роста, несколько полновата и широковата в бёдрах, волосы Фаи в тусклом освещении слабо отливали медовым оттенком. Тысячелетия должны были пройти, прежде чем кровь рыжеволосых

---

<sup>1</sup> Спуск, нисхождение (греч.)

цариц Ханаана смешалась в Фаине с кровью смуглых пленниц-моавитянок. Она шествовала, точно несла себя, отведя руку в сторону, чуть заметно покачивая бёдрами.

Она остановилась. Студент догадывался, куда его влечёт непостижимая судьба. В дальнем конце коридора полутёмная лестница спускалась, словно в преисподнюю, в подвал. Оба сошли в сырую тьму подземелья. Он не спросил, зачем. Медноволосый психопомп вёл его в приют испуганно сторонящихся теней. Вдоль стен тянулись трубы центрального отопления, девушка протянула руку к штепселю. Жидкий свет брызнул с потолка, нашлась дверь; отворив, они оглядывали закуток с хозяйственной рухлядью, искали ложе или саркофаг.

Он подчинился. В огромных, темно и тайно отсвечивающих глазах Фаины застыло уверенное ожидание, минуты казались вечностью. Губы зашевелились, как бы желая шепнуть: сюда нельзя, — он понял её без слов, то был зов к продолжению жизни. Пальцы Фаины расстегнули кофточку и сбросили с плеч, руки потянулись назад, чтобы освободиться от лифчика, и обнажили грудь.

## Генеалогические грёзы

### (1)

Наклонись над струйкой, следи за тем, как вода вырывается из-под камня, скользит и вьётся, и вливается в озерцо. И, успокоившись, течёт между травами и корнями деревьев, по песчаному руслу. Проводи её глазами, куда она не исчезнет из виду. Сколько времени понадобилось воде, чтобы пробиться сквозь толщу земли, отыскать трещину в окаменелостях далёкого прошлого, растворить в себе соль веков. Подумай о том, что твоя жизнь, единственная, замкнутая в себе, на самом деле только пробег ручейка от порога к другому порогу: не правда ли, мы не догадывались, что в нас продолжается подземный ток, что ты сам — бегущая вода. Из тёмных недр прорывается безмолвие голосов, так бывает во сне, так даёт о себе знать череда предков, ты понятия не имеешь о них. А между тем ты их продолжение. Ты весь составлен из подробностей, накопленных ими, ты их совокупный портрет. Ты сбрываешь рыжую, уже поседевшую щетину на щеках — её оставил тебе в наследство пращур, современник царя Давида, а ему — патриарх Иаков, тот, кто поцеловал у колодца смуглую девочку с тёмными сосками, с лоном, как ночь, и с тех пор чёрная и рыжая масть спорили в поколениях твоих предков. Ты вперя-

ешься в молочный экран и раздумываешь над каждой фразой, лелеешь и пестуешь язык, это потому, что твой согбенный прадед весь век вперялся в зеркальные строки квадратных букв с заусеницами и обожествил алфавит. Ты лежишь на пороге своего дома в Вормсе, в годину чумы, с проломленным черепом — тебя обвинили в распространении заразы. О тебе в Кишинёве сказал поэт: встань и пройди по городу резни, и тронь своей рукой присохший на стволах и камнях, и заборах остывший мозг и кровь комками; то — они. Их уличили в том, что они — это они, а не кто-нибудь другой. Ты в очереди перед газовой камерой, и рядом стоит твой соплеменник, босой пророк из Галилеи, царь иудейский, чтобы вместе со своей верой, которую он возвестил в Иерусалиме, со всеми вами вдохнуть циклон Б и сгореть в печах. Потому что заодно с теми, кого изгоняли и убивали из века в век за несогласие признать Иисуса Христа богом и, наконец, сожгли в печах, сгорело и христианство. Да, мы древний народ, мы поплавок, качающийся на поверхности взбаламученных вод, там, где на страшной глубине, занесённые илом, лежат целые цивилизации. И вот теперь ты остановился, тайный двойник, соглядатай, в зелёном лесу, и не можешь оторвать взгляд от родника — что стоит копнуть лопатой и засыпать его землёй!

## (2)

Я никогда не видел моего голубоглазого, рыжебородого деда, он умер, не дожив до пятидесяти лет, задолго до моего рождения. Он был ремесленник, бед-

няк, обременённый многодетной семьёй, считался знатоком Торы и Талмуда. От него не осталось портретов, не осталось ничего. От него остался я.

Я почти ничего не знаю о своих предках с материнской стороны, но помню мою мать, молодую женщину, умершую, когда мне было шесть лет; она была выпускницей Петроградской консерватории, пианисткой и художницей.

Я думаю, что во мне сказалось двойное наследствo — противостояние слова и музыки.

Привязанность к Слову, к листу бумаги, к начертанию букв: я ощутил её чуть ли не с раннего детства, она передалась от деда и через него — от бесконечной череды согбенных книжников. А мою любовь к музыке, жизнь в музыке я получил от матери.

Я стал писателем, потому что Слово для меня — воплощение логики, ясности и дисциплины, но эти начала сталкиваются и сливаются с тем, что не поддаётся переводу на язык слов, — с музыкой. Проза есть царство разума, но его размывают волны музыки, как ночь размывает день. Оттого чистота и логическая упорядоченность прозы смешалась в моих писаниях с фантастикой, с хаосом, с искривлёнными зеркалами, с безответственным отношением к времени, с мертвящим, как взгляд василиска, неверием в благодать Творца и сомнением в разумном мироустройстве.

### (3)

Отчего я не возвращаюсь — как возвращаются в родные места на закате жизни? Перипатетики фило-

софствоваали, гуляя в саду перед храмом ликейского Аполлона. Существует новая философия прогулок: по прямоугольнику каменного двора, парами, руки назад, не останавливаясь, не замедляя шаг. Существует философия мёртвых коридоров, гремучих ключей, цокающих сапог и прогулочных дворов высоко на крыше главного здания Государственной безопасности в Москве.

Отчего я не возвращаюсь... Можно привести дюжину доводов, нужны ли они? Там негде и не на что жить. Государство ограбило нас дочиста. Всё, что я сделал, все следы моего пребывания в России выскоблены. Я лишён пенсии, хотя работал всю жизнь. Моя жена лежит на мюнхенском кладбище. Куда я от неё поеду?

Меня в Москве может остановить на улице любой милиционер. Моё пухлое дело хранится в архивах тайной полиции и, может быть, ждёт своего часа. Скажут: времена изменились. Но кровавая гадина жива. Они, возразят мне, теперь этим не занимаются. Но я отравленный человек.

Ты русский писатель; не спорю. Писатель должен дышать воздухом реальной жизни. Какой жизни? Дышать воздухом российской действительности. Что такое действительность?

Есть реальность памяти, она могущественней минутных впечатлений, всего хаоса, что наваливается на гостя. Новая жизнь осыпается на другой же день, как мгновенно пожухнувшая листва. Ибо память не терпит



поправок. Есть действительности души, только она по-настоящему реальна.

Толкуют о читателе. Но у меня нет или почти нет читателей в России. Мой русский язык непонятен. «Ни одного человека вокруг, — жалуется изгнанник Овидий, — кто сказал бы словечко по-латыни!». Мой язык — латынь. И уже не здесь, а на родине я был бы эмигрантом. Я русский писатель, но я не национальный писатель. Где я, там русская культура, да-с; но это не культура сегодняшней России.

#### (4)

Одному человеку приснился сон, чей-то голос сказал ему: поезжай в Прагу, увидишь там большую реку и мост, под мостом лежит сокровище. Человек продал имущество, долго ехал, приехал, но оказалось, что мост охраняется. Каждый день он приходил, садился и смотрел на мост, постепенно к нему привыкли, он познакомился с начальником стражи. Однажды начальник сказал: этой ночью я видел сон. Голос рассказывал о деревне, будто бы там стоит заброшенный дом, в подвале спрятано сокровище, и никто об этом не знает. Вот я и думаю, сказал начальник, не рвануть ли мне туда. А где это находится, спросил приезжий, и понял, что речь идёт о его деревне. Боясь, что его опередят, спешно отправился в обратный путь, на последние деньги добрался до места, оторвал доски, которыми крест-накрест была заколочена дверь его избы, спустился в подпол и нашёл сокровище.

## (5)

Одному человеку приснился сон. Голос прошептал: бросай всё, поезжай в Прагу, там под мостом через Влтаву найдёшь сокровище. Он поехал, увидел мост, но дорогу ему преградила вооружённая стража. Он остался в городе, каждый день сидел у моста, сперва на него смотрели с подозрением, потом привыкли. Он познакомился с начальником стражи. Тот ему рассказал свой сон: будто бы где-то есть деревня, там стоит заколоченный дом, а в подвале лежит сокровище. Надо бы туда съездить, проговорил начальник, да нехорошо службу бросать. Крестьянин понял, о какой деревне идёт речь, вернулся, стал искать свой дом, но никакого дома уже не было

## Атомная теория вечности

### 1

Где же это было, когда? Слабое дуновение шевелило ажурный занавес, крупный шорох шагов, вкрадчивое постукивание каблуков по тротуару, голоса мужчин, смех женщин доносились через открытое окно первого этажа, доносилась жизнь, и всё это была Москва, город юности и детства, — та самая Москва, которой ныне нет и в помине, потонувшая, как Атлантида, в океане вечности.

В пятом веке до нашей эры фракийский грек Демокрит, которого некоторые считают предшественником российского еврея Георга Кантора, творца теории множеств, учил, что мир состоит из мельчайших неделимых частиц. Мы же в свою очередь можем сказать, что Вселенная памяти представляет собой континуум минимальных воспоминаний, — и вот он, один из таких атомов памяти: московский: летний вечер. Открытое настежь окно, колышущийся занавес, лукавый стук каблуков, обрывки фраз, женский смех, темнеющая прохлада нашего бывшего переуллка между Чистыми прудами и Мясницкой, округа, от которой почти ничего теперь не осталось.

Я хотел бы вернуться, снова призвав на помощь пусть и не вполне надёжную память, — вернуться к обстоятельствам моей оттаявшей жизни, о которой только и можно сказать, что это была недвижимая, замороженная жизнь, говоря на языке звездословия — ночное прозябание в лучах Сатурна. Стояли пятидесятые годы, середина минувшего века. Как известно, век на шестой околосолнечной планете продолжается 3000 лет.

Назначенный охранять сооружения, на которые никто никогда не покушался, — продуктовый ларёк для вольнонаёмных, закуток с хозяйственными принадлежностями, сарай пожарной охраны, где за створами ворот стояла наготове, в хомуте и оглоблях, под дугой, взнузданная и впряжённая в повозку лошадь, — я расхаживал взад-вперёд по снежному насту вдоль запретной полосы мимо и рядов колючей проволоки, мимо увешанного лампочками глухого древнерусского тына из жердей в два человеческих роста, между угловыми вышками, обливавшими спящую жилую зону белыми струями прожекторов. Налево от крепости, в иссиня-чёрной пропасти неба мерцали ртутные звёзды вертикально стоявшей Большой Медведицы, над моей головой застыла сияющей точкой Полярная звезда. Я отыскивал ярчайшее украшение нашего северного неба, алмазный Юпитер, искал и не находил тусклое светило моей судьбы — Сатурн, семижды окольцованную планету лагерей.

Время от времени, основательно озябший, я заходил погреться в каморку бесконвойного пожарника, мужика католика родом из Галиции, иначе польской Западной Украины, старше меня вдвое, по имени Иустин. Он прислуживал в посёлке жене вечно пьяного начальника лагпункта, старшего лейтенанта Ничволоды, точнее, как говорили, спал с ней, выполнил почётное задание заколоть поросёнка и в награду получил сцеженную пороссячью кровь и кишки. Иустин сидел перед горячей печкой и угощал меня кровяной колбасой, которую я никогда в жизни не ел. До конца моих дней не забуду её дивный запах и вкус.

### 3

Вскоре мне пришлось расстаться с добрым Иустином. Начальство, которому нечасто приходили в голову счастливые идеи, вновь подарило мне редкостную привилегию одиночества, назначив караулить лесосклад в сто пятом квартале.

По-прежнему, как расконвоированный малосрочник — всего восемь лет, — я протягивал дежурному надзирателю на вахте свой пропуск и выходил без конвоя за зону.

До склада было не так далеко, каких-нибудь десять километров. Приближаясь к объекту, я угадывал в темноте штабеля брёвен. Теперь нужно было запастись топливом — не слишком сырыми щепками, кольями и обрубками помельче, обрывками берёзовой коры для растопки.

Тысячелетия тянулись, я сидел у костра и думал о том, что моя жизнь, быть может, обретёт своё назначение и смысл, если когда-нибудь, через много лет, я о ней напишу.

Небо надо мной заволочлось, вот-вот должен был начаться снегопад. На затёкших от неподвижного сидения ногах я побрёл к сторожке, лёг на топчан. Частички памяти, как снежинки, закружились в засыпающем мозгу. И тотчас шевельнулась гардина, донеслось цоканье женских каблуков, я услышал смех и говор.

## Предательство языка

На занятиях латынью приводился пример двойственности родительного падежа: *timor hostium*, страх врагов. Это может быть страх, внушаемый врагами, и страх, который испытывают сами враги. Таково предательство языка — словосочетание само по себе двусмысленное. Мы предаём язык, но можем сами стать жертвой его предательства. Я и мой язык — поочерёдно становимся по отношению друг к другу предателями.

С самого начала тень измены сопровождает тебя, едва только ты поддался соблазну писательства. Льстишь себя надеждой овладеть языком. Жалкая иллюзия! Осознать себя, свою неповторимость, понять, кто это такой, тот, кто (как формулирует Ролан Барт), говорит о себе «я», чтобы облечь свои откровения в обманчивые одежды языка. «Искренность! — вздыхает двуликий персонаж Андре Жида, — что значит быть искренним?» Твоя литература, не правда ли, как женщина, облачаясь, разоблачает себя, одевается, чтобы казаться раздетой.

Но лишь такой ценой, соблюдая, а лучше сказать, навязывая тебе правила языковой игры, она обещает свою любовь. Только тогда литература выполнит своё высшее предназначение. И твоя душа, призрак без будущего, окажется, наконец, в вожделенном потустороннем мире.

## Из предисловия к «Запаху звезд»

Я решаюсь публиковать эту повесть, относящуюся к первым временам моей литературной работы, хорошо понимая, что её тема не вызовет интереса у сегодняшних читателей в России. Кому охота ворошить прошлое. Вопрос, однако, в том, удалось ли это прошлое отменить. «Запах звёзд» не есть обвинительный документ, повесть не ставила и не ставит перед собой задачу разоблачить кого-либо или что-либо. Она написана не ради того, чтобы заставить читателя задуматься, можно ли быть уверенным, что лагерь больше не возвратится. Но она притязает на то, чтобы оживить кусок жизни, о которой принято говорить, — если кто-то вообще о ней помнит, — что она была и сплыла. Жизни, о которой всем хотелось бы думать как о более или менее случайном, преходящем эпизоде национальной истории.

Я не хочу здесь касаться вопроса, в какой мере лагерный образ жизни отвечал традициям страны, где крепостное право было отменено лишь каких-нибудь полтора-два десятилетия тому назад, чтобы возродиться при советской власти либо в форме колхозного строя, либо в той форме, о которой здесь идёт речь. На ум приходит фраза Толстого о том, что солдат, раненный в деле, думает, будто проиграна вся кампания. Человек, отве-



давший лагерь, скажут мне, уверен, что это и есть самое главное в жизни народа. Лагерный фольклор зафиксировал эту иллюзию, там считали, что на воле вообще никого уже не осталось. И всё же я думаю, что лагерь представляет собой нечто коренное в истории минувшего века. Лагерная цивилизация, какой бы архаичной она ни выглядела, как бы сильно ни напоминала не только времена Грозного или Петра, но чуть ли не Египет фараонов, — в такой же степени продолжение традиций, как и принадлежность модерна. Более того, цивилизация принудительного труда в её новейшем облике представляет собой достижение всемирно-исторического значения, которым — прошу принять мои слова всерьёз — поистине вправе гордиться наша страна.

Эта цивилизация не могла бы достичь такого размаха и совершенства в иных географических условиях. Обширность России, её воронкообразная, засасывающая география, словно созданная для того, чтобы превратить наше отечество в обетованную землю массового принудительного труда, этой новейшей реализации утопического (как считали) проекта Общего Дела на военно-дисциплинарных началах, о котором грезил Николай Фёдоров, — эта география, говорю я, позволила в глухой тайне свозить в лагерь, эшелон за эшелон, на протяжении полувека, десятки миллионов людей. Само собой, к ним нужно добавить и колоссальный аппарат сыска, и многоступенчатую бюрократию, и вооружённую охрану. В итоге труд заключённых преобразил страну, воздвиг города и прорыл ка-

налы, проложил железные дороги и создал целые отрасли промышленности; концлагеря размножились повсеместно, а не только в отдалённых районах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока; лагерь, как кромка леса на горизонте, стоял везде, маячил немой угрозой, и можно было бы сказать, пользуясь юнгианской терминологией, что архетип лагеря остался неисребим в коллективном бессознательном народа. Этим и объясняется настойчивое желание не дать ему вновь ожить в сознании.

Однако мы отвлеклись. Ведь никому из сидевших тогда, намертво забытых, наглухо засекреченных и как бы вовсе не существовавших, не приходило в голову, что они находятся на переднем крае национальной истории. Лагерь был новейшей модификацией подземного царства, а в аду, как известно, очень скучно.

## Поколение

Что такое поколение? Нечто, вычленяемое из потока исторического времени. Искусственный конструктор, фрагмент истории, к которому применима сентенция Себастьяна Гафнера: «Историю сочиняют историки. История есть произведение литературы».

Время? Кто не помнит знаменитые и знаменательные слова, обронённые блаженным Августином? Знаю, говорит он (Исповедь, XI, 14), что это такое, но если меня спросят, не сумею ответить.

Так и ты. Не правда ли, отдаёшь себе отчёт в том, что источник и материал дилетантских размышлений о «поколении» — всего лишь личные воспоминания, социальная или дружеская среда, куда забросили тебя случай и год рождения, — то, что ты так живо чувствуешь, что ты пытался выразить в твоих сочинениях, — короче, то особое мироощущение, которое серьёзные историки называют «духом времени». Но, возродить и одушевить это канувшее в прошлое умонастроение они едва ли способны. Да и не ставят перед собою такой задачи.

Так что придётся, наконец, сознаться, что поколение, которому ты якобы принадлежал, чьим законным представителем себя считаешь, — есть не что иное как ты сам, твоё обобщённое прошлое.

Конечно, я отлично помню мелочи времени, — речь идёт о первых послевоенных годах, — мелочи, которые склеивали современников в единую массу, песенки, анекдоты, летучие неологизмы, сиюминутные речения, популярные имена, герои и героини экрана, наряды девушек, болтовню эстрадных конференсье, барабанный бой газет, уставших лгать самим себе («умру, — писал Эренбург, — вы вспомните газеты шорох...»), наконец культ Вождя-каннибала, принявший клинические формы массового помешательства, — всё помню наизусть, всё стоит перед глазами, звучит и плещется в ушах. Меня, однако, занимает та безвозвратно исчезнувшая атмосфера, которая, как облако нейропаралитического газа, всех нас накрыла, наполнила лёгкие, одурманила мозг, атмосфера, о которой не смели, а чаще и не хотели поведать подневольные советские литераторы, рабы, пишущие для рабов, — летописцы и мемуаристы этой поры. Много позже редчайшим исключением оказался разве только Юрий Трифонов, — разумеется, не в «Студентах», — между тем как столь чуткий ко всему современному Илья Григорьевич Эренбург, кумир интеллигенции, пришедшей на смену поколению молодёжи, о коем речь, в своих прогремевших воспоминаниях промолчал о главной, страшной черте эпохи, не обмолвившись ни словом о тайной полиции, о тюрьмах и лагерях, — грубо говоря, под видом панорамы времени создал великолепный и величественный фальсификат.

Невозможно говорить об обществе, породившем наше гипотетическое поколение, потому что никакого

общества в Советском Союзе не было. Был «народ-победитель» — электрическая слава сияла над зданием Центрального универмага, — но победитель понёс такие потери, что последствия катастрофического урона ощущаются до сих пор, спустя полвека с лишком после окончания войны; такова была цена, заплаченная под водительством «величайшего полководца всех времён и народов» за спасение и возрождение режима.

Но ты собрался было говорить о поколении. Трудная тема! Шаткое, неверное слово, которое приходится брать в кавычки. В самом деле, кто такие были эти «мы», что такое наше или не наше поколение? Фантом, изобретение писателей. Впрочем, ты уже вещал об этом.

«Моё поколение» — это абстракция. Я привык считать себя закоренелым индивидуалистом. Я питаю глубокое недоверие ко всякому коллективизму. Ни с какой общественностью я ничего общего не имел и не испытывал к этому никакой охоты. Приведу ещё одну цитату. «Я поздно осознал свою принадлежность к поколению, даже как бы сопротивлялся чувству этой принадлежности». (М. Харитонов, эссе «Родившийся в 37-м»).

Мне кажется, я мог бы подписаться под этими словами.

Толкуют о «нашей эпохе». Боже милостивый, какая эпоха? Рискуя впасть в неуместное острословие, можно сказать, что эпоха «эпох» в нашем отечестве попросту прекратилась. Нам остаётся вспоминать только о войне. Бывают такие страны, где история проваливается время от времени в яму.

И всё-таки! Нырря в омут минувшего, я принужден буду признать, что в самом деле принадлежал к тому сомнительному «мы», которое за неимением нужного термина должен назвать поколением, — в данном случае, увы, всего лишь к поколению московской интеллигентной молодёжи ранних послевоенных лет. (Судьба пощадила меня: я достиг тогдашнего призывного возраста к концу войны.)

Поистине это было одинокое, неприкаянное и расплывённое поколение, и не только потому, что всякое проявление, любая попытка сплотиться, группа единомышленников, дружеский кружок, немедленно привлекали внимание вездесущей тайной полиции, прослаивались донощиками и заканчивались арестами. Но и потому, что мы были квази-поколением с начисто вытравленным инстинктом солидарности, воспитаны всеобщим страхом и вечной необходимостью быть на чеку, приучены к повсеместному подслушиванию и подглядыванию. Потому что мы угодили в расщелину истории. Всем нам было суждено жить и изживать нашу юность в гнуснейшую пору советского времени.

Сказать о нас, что мы, внуки мёртвящих тридцатых годов, дети военных лет, так и не сумевшие дозреть до того, чтобы стать поколением в полном и подлинном смысле, сказать, что мы не знали жизни, было бы и правдой, и неправдой. Нет, с реальностью повседневного существования в СССР, чудовищным бытом, нищетой, голодом, вечной нехваткой всего и т.д. и т.п., были мы очень даже знакомы, сталкивались весьма

чувствительно и достаточно рано. Перед этими сиротливыми кулисами, наперекор всему, разыгрывалась трагикомедия нашей судьбы, ютилась по углам наша молодость, поколение одиночек, типичными чертами которого парадоксальным образом стали какая-то странная, всё ещё не преодолённая незрелость, застенчивость и стыдливость. Стороннего наблюдателя должно было поразить наше пуританство, воспитанное и внедрённое ханжеской полицейской моралью, невежество в вопросах пола, подростковый страх перед женской телесностью и полнейшее непонимание женской сексуальности у юношей, раз и навсегда заученная поза самообороны перед самой робкой мужской инициативой у девушек, какой-то духовный (да и физический) запор вкупе с неизбежным следствием подобного воспитания — обоюдной скованностью и бесчисленными словесными табу... Короче, богатейший материал для фрейдистских умозаключений — в стране, где психоанализ был не просто запрещён, но чуть ли не приравнен к политической крамоле. Искалеченное поколение, вот кем мы были.

## Жатва

Итак по плодам их узнаете их (Мф. 7:16)

Седьмого декабря 1917 года, вскоре после октябрьского переворота и захвата власти, вождь партии большевиков вручил одному из своих приближённых записку с проектом главного учреждения нового режима — Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В ближайшие дни Дзержинский представил Ленину программу работы. В этом по-своему замечательном документе впервые появляется оксюморон «революционная законность». О появлении нового института госбезопасности сообщила газета «Известия» 10 (23) декабря 1917 года.

Так родились Органы, эти неумирающие тестикулы каннибальского режима, без которых наше государство непредставимо на всём протяжении его истории.

С годами тайная полиция переросла сама себя. Это была универсальная организация, выполнявшая и сыскные, и следственные, и псевдосудебные, и карательные функции, служившая одновременно инструментом тотального контроля и устрашения и рычагом экономики: уже в тридцатых годах стало ясно, что создание новых отраслей промышленности, добыча по-



лезных ископаемых, освоение новых регионов, грандиозные стройки, неслыханная милитаризация, короче, всё то, что подразумевалось под строительством коммунизма, без системы принудительного труда невозможно. К жертвам террора присоединились сгинувшие в лагерях. В конечном счёте вся государственная машина в большей или меньшей степени оказалась в ведении тайной полиции. Такова была логика породившего её строя.

Урон, нанесённый народонаселению бывшей Российской империи и русской культуре тайной полицией, никогда не исчезавшей, обозначавшей себя разными, но синонимичными аббревиатурами: ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МВД, НКГБ, МГБ, КГБ, вплоть до нынешней ФСБ, не поддаётся учёту. Неисчислимо количество человеческих жертв, сопоставимое с потерями, причинёнными войной. Нет конца мартирологу выдающихся умов и дарований — писателей, поэтов, мыслителей, художников учёных. Страх, общественная кастрация, беспомощность, повсеместная слежка и доноительство деморализовали народ. Дыхание концлагерей, усеявших, словно сыпь, огромное тело безнадежно больной страны, надолго, если не навсегда, отравили наше отечество.

И что же?

Кровавая гадина оказалась бессмертной. Палачи пережили всё на свете: советскую власть, идеологию, партию, коммунизм — и благоденствуют. Поразительно, что перед лицом многолетних массовых злодеяний мы не слышали ни об одном судебном процессе. Никто не решился указать на бывших бонз преступного ре-

жима, напомнить прихлебателям этого режима, его идеологам и певцам, всем, кто танцевал с дьяволом, — mitgettanzt, по выражению Томаса Манна, — об их прошлом. Организация с неконтролируемым бюджетом, располагающая собственными вооружёнными силами, многоголовым штатом, не распущена.

Общественное мнение (если оно существует) разделилось. Кто-то толкует о пользе и необходимости контрразведки, разведки и пр. Эти доводы в нашем случае, перед кулисами источающего трупный запах прошлого, не заслуживают серьёзного обсуждения. Другие говорят: довольно об этом, слышали, и не раз. Забудем.

Так всё и остаётся. Площадь в сердце Москвы не распахана. Не снесена до основания, как некогда парижская Бастилия, зловещая цитадель, не уничтожен комплекс окруживших её зданий. Не раскрыты «оперативные дела» убитых, не обнародованы имена преступников — генералов, офицеров, следователей, прокуроров, провокаторов, оперуполномоченных и т.п. Не разобран и не вывезен куда-нибудь подальше мавзолей с его содержимым на центральной площади столицы, не выброшены на свалку калечащие пятисотлетнюю итальянскую зубчатую стену мемориальные доски с именами поганцев — «верных ленинцев». Всё остаётся по-прежнему — доколе?

## Marche funèbre

F. Chopin, Piano Sonata No.2. Lento (III)

Словно завеса дождя, заслонив горизонт, висит перед нами наш век, наш минувший век; я спрашиваю себя, какое может быть будущее после такого прошлого. И тут на память приходит недавнее дикое происшествие. Неудивительно, что о нём предпочитают помалкивать.

Для тех, кто живёт вдали от России, сообщаю, что у нас теперь демократия. Можно говорить, что хочешь. Можно критиковать власть — само собой, в дозволенных рамках. Можно ходить по улицам с плакатами. Для этого необходимо обратиться в Управление уличных шествий и митингов — так называется это учреждение. Об одном из таких шествий пойдёт речь.

Не обошлось без трудностей. Услыхав, кто собирается демонстрировать, должностные лица были несколько смущены. Обратились в Санитарно-эпидемическое управление, там ответили, что при условии соблюдения гигиенических мер — не возражают. А каких мер? Запросили Патриархат. Оттуда поступил неопределённый ответ: разумеется, церковь отстаивает тезис о бессмертии души, но, знаете ли... Особо щекотливый вопрос был, что скажет Государственная Безопасность, — не пахнет ли тут провокацией? Рассказывают, что один ответственный работник, погрозив пальцем, напомнил

мудрую пословицу русского народа: кто старое помянет, тому глаз вон! Ему осторожно возразили, что подобное увечье демонстрантам как раз не грозит... Однако было бы чересчур утомительно рассказывать обо всех хлопотах, о хождении по инстанциям, поисках нужных знакомств.

Сговорились, что все участники соберутся на Волхонке, у храма Христа Спасителя. Напрасно прибывший на место князь церкви уговаривал собравшихся, помолясь Богу, вернуться восвояси. Пришло так много (несмотря на строгий отбор), что толпа загрозила окрестные улицы. Конная и пешая милиция, народная дружина, силы безопасности, отряд государственных громил оказались в затруднительном положении: применить силу по понятным причинам было слишком рискованно. Власти колебались; высшее руководство и сам правитель были вынуждены ограничиться умеренными указаниями; органы массовой информации получили наказ не освещать случившееся; агенты следили за тем, чтобы иностранные корреспонденты не затесались в толпу. Как водится, поползли дикие слухи, из которых самым замечательным (и, возможно, подсказанным сверху) был тот, что ничего такого вообще не было, а просто толпа собралась перед храмом по случаю дня Всех святых. Тем не менее весь центр столицы был оцеплён и прекратилось движение транспорта.

Со своей стороны, демонстранты проявили заведомую дисциплину. Всё успокоилось; в молчании, по шестеро в ряд, с плакатами, портретами, иконами, колонна двинулась в сторону Моховой. Далее намеревались продефилировать по Охотному ряду, через

Театральный проезд к зданию на Лубянке, бывшей площади Дзержинского, где должен был состояться митинг.

Было около десяти часов утра, стояла прекрасная погода. Нежной, как пух, зеленью успели покрыться деревья в Александровском саду. Парад возглавили полководцы. Впереди шагал маршал Тухачевский. Довоенный мундир без погон, с красными звездами в петлицах и орденами над левым карманом, болтался на его остоге, как на вешалке. Что-то вроде надменной усмешки мелькало в провалах глазниц; на череп, посеребривший от времени, надвинут форменный картуз. За маршалом, гремя и хлябая в сапогах берцовыми костями, выступала когорта высших офицеров, героев гражданской войны, комкоров и командармов, с простреленными затылками, кто в боевой гимнастёрке, кто в полусгнившем лагерном бушлате, с привинченными орденами и нашитыми шеvronами. Предоставляем читателю вообразить во всех подробностях изумительное зрелище. Милиция, стоявшая шпалерами вдоль улиц, опасалась вмешаться, демонстранты могли рассыпаться, и как бы чего не вышло.

За военными шли писатели. Тут можно было угадать известных покойников. Маленький Осип Мандельштам, в длинном не по росту, перепачканном могоильной жижей ватном одеянии, с трудом поспевал за шеренгой. Чётко, по-офицерски печатал шаг труп Гумилёва. Семенил, в очках на безносом лице, Исаак Бабель. Нарушая строй, двигались, приплясывая, с косами и серпами крестьянские поэты, за ними маршировали суровые пролетарии. И далее, насыщая воздух

столицы запахами распада, шествовало молчаливое мёртвое многолюдье: остатки эксплуататорских классов, отбросы общества в профессорских шапчонках, в пенсне, с трудом держащихся на остатках носовой перегородки, кулацкие элементы в лаптях, священники в рясах, врачи-вредители, ортодоксы-ленинцы, левые и правые уклонисты, революционные евреи, монархисты с императором на палке, — кого тут только не было.

Некоторое замешательство произошло, когда приблизились к цели. Одни, как намечалось, правили к Лубянской площади — там уже готовились к встрече: говорят, все окна таинственной цитадели были заполнены бойцами невидимого фронта, побросавшими деля. К случившемуся, однако, отнеслись со всей серьёзностью: гранитные подъезды были забаррикадированы на случай штурма, в центре площади, на круглом постаменте бывшего Рыцаря революции устроено пулемётное гнездо. Другая часть демонстрантов, их было большинство, требовала изменить маршрут.

Следуя этому пожеланию, главнокомандующий повёл своё мёртвое войско через Кремлёвский проезд на главную площадь столицы. Мимо маршала Жукова (при виде марширующего Тухачевского каменный всадник отдал ему честь) к другому памятнику, воздвигнутому на месте снесённого мавзолея. (К сведению живущих за границей: автор памятника, славный зодчий Церетели отказался от традиционного решения. Вместо статуи Вождя на цоколе стоят изваянные из цхалтубского мрамора сапоги.) Туда же, естественно, перебазировались силы поддержания порядка.

Всё смолкло. Маршал, стоя на импровизированной трибуне, обвёл толпу безглазым взором, покосился на мраморные сапоги, приготовился открыть митинг. Прозвучал гнусаво-мелодичный перезвон курантов, вслед затем часы на древней башне отбили положенное число ударов. И тут случилось то, чего не могло не случиться: силы повиновения и порядка потеряли терпение. В новенькой униформе — прорезиненные куртки, травянистые порты, полусапоги с высокой шнуровкой, — расчищая путь автоматными очередями и дубинами, устремились вперёд маскированные бойцы-громилы особого назначения. От первого же удара продырявленный пулей наркома Ежова череп маршала Тухачевского (который в своё время и сам был не промах) развалился на крупные и мелкие фрагменты. Ещё удар дубиной — и из съехавшего мундира посыпались на помост обломки рёбер, трубчатых костей и костей таза. На площади и в проездах процедура потребовала более продолжительного времени; подключились подразделения милиции, народные добровольцы и просто желающие размяться. Завершая операцию, на Красную площадь высадились национальные парашютисты. Трое суток подряд грузовики марки «Вольво Трак Файндер» вывозили за пределы столицы груды поломанных костей, ветхие рубища, остатки внутренних органов. Водоструйные машины смыли с брусчатки пятна мозга.

## «Прибытие»

Опыт критического разбора  
(ОТ АВТОРА)

Тема рассказа, который, по нашему мнению, принадлежит к относительно более удавшимся автору, — возвращение к собственному «я». Память, грезящая о прошлом, сны наяву делают возможным подобное возвращение. Но что значит вернуться к себе? Пояснением (или извинением) служит эпиграф: «Ты станешь мною и моим сном», слова из фантастической новеллы Борхеса «25 августа 1983 года». Можно предположить, что сюжет «Прибытия» навеян этой новеллой.

Ещё одна цитата, предваряющая текст, позволит нам оценить замысел автора — высказывание Лукино Висконти из интервью, которое великий кинорежиссёр дал незадолго до своей смерти в 1976 году:

«Я обращаюсь к прошлому, оттого что настоящее скучно и предсказуемо, а будущее пугает своей неизвестностью. Зато прошлое предрекает настоящее и, глядя в прошлое, мы, как в зеркале, можем увидеть черты сегодняшнего дня».

Обратимся к рассказу. Повествование ведётся от первого лица. Рассказчик, по-видимому, немолод и говорит о «болезни закатных лет» — способности жить одновременно в разных временах. Вначале мы узнаём,



что поводом для рассказа послужил ответ из учреждения, куда автор-повествователь обращался с просьбой помочь ему разыскать некую Анну Ивановну Привалову. Означенной гражданки в архивах не оказалось. Похоже, её давно уже нет в живых. Но память об этой девушке жива в сознании автора, прошлое, по его словам, вцепилось в него, и его розыски, путешествие, которое он предпринимает, возвращают его в это прошлое, превращают из взрослого в подростка. Дальнейшее принимает ирреальный характер. Правильней будет назвать его сновидческим. Впрочем, действительность вторгается в повествование с первых же строк.

Только что началась война. Враг наступает, немецкие моторизованные дивизии почти вплотную приблизились к Москве. Город охвачен паникой. Вместе с названной матерью и младшим братиком, в жаркий июльский день подросток оказался на вокзале, толпа женщин с детьми, с домашним скарбом осаждает товарные вагоны. После многих часов пути эшелон с эвакуированными прибывает в Казань. Мальчик стоит у полуоткрытой раздвижной двери пульмановского вагона. Неведомое будущее, манит его к себе. Он спрыгивает на песок. Ему кричат что-то, он не внемлет, раздаётся пронзительный свисток, поезд трогается. Беглец не оглядывается, бродит по шпалам, наугал плутает по незнакомому городу. Он находит набережную и отыскивает речной порт. Вода бурлит за кормой теплохода «Алексей Стаханов», — кто теперь помнит шахтёра-передовика 30-х годов? Сновидец видит себя сидящим на палубе. Корабль плывёт вниз по Каме.

Продолжим нашу интерпретацию рассказа. Оказавшись, в ином пространстве, повествователь — не зря выше говорилось о существовании в разных временах — как будто позабыл о цели своего паломничества, которая незримо вела его на протяжении всего пути. И вот, наконец, прибыли. По шатким мосткам следом за пассажирами подросток выходит на дебаркадер пристани Красный Бор. Здесь всё знакомо. Он шагает по улице полурусского, полутатарского села. Вон там показалась бывшая школа, почта, где когда-то с замиранием сердца он опустил в ящик своё письмо, за ней районная библиотека. У Чехова в повести «Моя жизнь» говорится о библиотеке уездного городка, где сидят одни только молодые евреи. Так и он был в те годы единственным посетителем районной библиотеки. Путешественнику понадобилось не так много времени, чтобы, миновав райцентр, выйти на просёлочную дорогу.

Между тем (как и следовало ожидать) настала зима. Та самая зима рокового Сорок первого, когда спавший на печи русский Бог, проснувшись, принялся спешно выручать свой обездоленный народ и необычайно жестокие холода остановили наступательный марш завоевателя. Москва была спасена. А сейчас мальчик, влекомый всё той же целью, ни о чём не подзревая, в шапке-ушанке с опущенными наушниками, в непривычных горожанину валенках бредёт по санному тракту.

В морозной мгле вдали завиднелся больничный посёлок. Плотные белые дымы, похожие на выдавлен-

ную из тюбика зубную пасту (ещё, кстати сказать, не изобретённую) стоят над бараками. Здесь нашли пристанище названная мать и её дети — подросток-пасынок и малолетний сводный брат. Путник приближается. Неужто финиш? На мгновение ему почудилась закутанная в пуховый платок, ожидающая на крыльце женская фигура. Но нет, это не она. Миновав холодные сени, он рванул тяжёлую дверь, перешагнув высокий порог.

На кухне тепло, как в парной, пахнет хозяйственным мылом, таз с горячей водой стоит на табуретке. Маруся Гизатуллина, медицинская сестра, в рубашке, приспущенной до груди, с голыми икрами, в толстых вязаных носках на маленьких ступнях, моет голову, поворачивается навстречу незваному гостю; понимает, она его узнала. «Закрывай дверь, дует!» Вид полуобнажённой женщины — первое испытание, уготованное подростку. Но Маруся его не интересуется, он отводит взгляд, и вот её уже нет. В тесном закутке за печью и лежанкой, перед которой стоит шаткая деревянная лесенка, подросток находит дверь, там он живёт; впрочем, мачехи нет дома, она на дежурстве. Отворив, он видит их комнату: стол, огонёк коптилки, у стены кровать со спящим малышом, ещё одно ложе для себя... На столе учебники, библиотечные книжки, за столом, склонившись над тетрадкой — по-видимому, дневником, — сидит он сам.

Вот так. Если прошлое таило в себе будущее, то будущее заключает в себе и собственное прошлое. Когда-нибудь он привезёт в Москву свой дневник. Когда-нибудь напишет этот рассказ. В чёрном запотевшем

окне отразился дрожащий язычок огня, отразилось ошеломлённое, словно застигнутое врасплох лицо преступника, его собственное лицо.

Гость, увидевший за столом самого себя, застыл в дверях. Мальчик воззрился на гостя. Оба не узнают друг друга — в чём нет ничего удивительного.

Не станем пересказывать их невнятный, спотыкающийся разговор. Кто из них настоящий? Подросток не понимает, что перед ним тот, кем он когда-нибудь будет. Зато пришелец догадывается, что за столом сидит тот, кем он был когда-то.

Неожиданно раздаётся слабый стук в дверь. Подросток поднимает голову. Гость из будущего рассказывает... Что было, что будет?

Нужно представить себе волнение девушки, впервые в жизни получившей влюблённое письмо. Кругом война. В районном центре, в окрестных деревнях мужчин почти не осталось. Одни бабы в больничном посёлке (она медицинская сестра, как и Маруся). Письмо написал юнец. Но как написал! Подобно тому как Татьяна в письме к Онегину переписывает французские романы, будущий писатель не убоился упрёка в плагиате, уснастив своё признание цитатами из русских классиков. Зимней ночью Нюра Привалова лежала без сна. В шубейке наброшенной на рубашку, в тёплом платке и валенках она стояла, парализованная сомнениями, на крыльце барака. Тишь и тайна объяли посёлок. Над её головой в чёрной прозелени неба сверкали ртутные звёзды вертикально стоящего Ковша. Продрогшая, она возвращается к себе, в тёплую постель,

спрашивает себя, зачем ей понадобилось связываться с ребёнком. Но он уже не ребёнок. Сна по-прежнему ни в одном глазу, и всё та же щекочущая, сосущая мысль: а что если... Кругом всё спит. И она поднимается, натягивает шерстяные носки, суёт ноги в валенки.

Поёт, захлопывается, садясь в пазы, тяжёлая дверь. И кто-то робко стучится в комнату. И она входит. Язычок огня встрепенулся на столе. Будущее входит к подростку — Нюра, в шубке, наброшенной на плечи, придерживая воротник вокруг шеи, Нюра в блеске и красоте своих девятнадцати лет, в маленьких чёрных валенках, в платке, из под которого выбились русые пряди, осыпанные искрящимся инеем.

Рассказчик медлит, не зная, как описать дальнейшее. Девушка что-то лепечет, поглядывает на книжки: дескать, пришла попросить что-нибудь почитать. О письме — ни слова. Нервным движением она отбрасывает платок, поправит волосы. Пальто съехало на пол, она наклоняется — не для того ли, чтобы оказаться в рубашке? Нет, разумеется — ненароком. Да и холодно без пальто. Нечто помимо её воли, не спросясь у рассудка, руководит её мыслями и движениями. Это задействован пол. Мальчик встаёт, как зачарованный, помочь ей, что ли, подхватить свалившуюся шубейку. Внезапно она — сама! — обнимает его. Больше невозможно откладывать то, чему суждено свершиться. Женщина садится на кровать, обнажаются её круглые, составленные вместе колени, поднимается рубашка. Женщина тянет его к себе, опускается на спину вместе с ним и, словно младенцу, даёт ему тёплую грудь.

Зима миновала, инициация и время превратили его в мужчину. Возобновилось судоходство на Каме. Прежней дорогой вниз по широкой реке до конечной пристани, до белокаменных стен невысокого казанского Кремля. В столице республики повествователь отыскивает архивное управление, где сведениями о гражданке Приваловой Анне Ивановне, как ему уже сообщали, не располагают. Сколько лет прошло! Нюра умерла не менее пятидесяти лет тому назад. Каким-то образом удалось узнать о причине смерти. Прежде это называлось родильной горячкой.

## **Письмо к старой приятельнице, или Маленький трактат о любви**

Вполне возможно, что женщины, которых мы целовали, как и места, где жили, на самом деле не таят в себе больше ничего из того, что заставляло нас любить, возжелать, жить там, бояться потерять возлюбленную. Искусство, притязающее на сходство с жизнью, дискредитирует драгоценную правду впечатлений и воображения и тем самым уничтожает единственно ценную вещь. Но зато, изображая ее, оно придает ценность вещам самым заурядным.

*Из записных книжек Марселя Пруста*

Дорогая!

Заголовок, который я проставил здесь, позабавит, а может, и отпугнёт вас: наши отношения всё-таки не настолько конфиденциальны, чтобы позволить мне без стеснения распространяться перед вами на весьма деликатные темы. Трактат о любви, скажете вы, вот-те раз! Кому нужна вся эта философия?

Сидя перед листом бумаги за столом, на котором, кажется, ещё совсем недавно возвышался похожий на мемориал письменный прибор дедушки, а за ним и моего отца, обмакивая ручку в чернильницу и держа наготове пресс-папье, я чувствую себя могиканином эпохи, когда умная машина не отучила ещё людей

пользоваться таким архаическим инструментом, как стальное перо, а интернет не доканал традицию эпистолярной прозы. И, однако, я возвращаюсь к надоевшей вам, должно быть, привычке напоминать о моём существовании.

О чём же мы будем беседовать... Что нового может сообщить, чем вас развлечь корреспондент, для которого всё новое — давно известное старое?

Заговорив о почтовой прозе, я стал думать о том, какое значение имели письма в моей до неприличия затянувшейся жизни, — и вот вам тема! Начать хотя бы с одного примера.

Я знал, не мог не знать, что письмо оттуда, сама попытка связаться с внешним миром, кроме ближайших родственников (к ним разрешалось написать один раз в месяц открытку без заведомо секретных подробностей, с закодированным обратным адресом), подвергает опасности адресата, — хотя какой именно опасности, какому риску, об этом можно было только гадать. Все законы и постановления на этот счёт были секретными, как и самый факт существования концлагерей, — слово это принадлежало ко множеству непроносимых.

Не мне вам рассказывать, дорогая, что мы жили в заколдованном государстве, допускавшем лишь проявления безграничной преданности и благодарности. Всякая секретность порождает адекватное ей ханжество, и запретность этих слов должна была означать, что ничего подобного нет и не было в нашей самой счастливой стране. Не было никаких лагерей, не существовало и нас, неупоминаемых обитателей этого тщатель-



но закамуфлированного мира, — совершенно так же, как для ребёнка, которому родители запретили произносить нехорошие слова, не должно было существовать ни частей тела, ни органов, обозначаемых этими словами, ни всего того, для чего предназначены природой эти органы.

Так вот, мадам, — если вернуться к начатому, — я вполне отдавал себе отчёт в том, что две-три строчки, которые я осмелился каким-то образом направить из заключения девушке по имени Ирина Вормзер (и на которые, разумеется, не получил ответа), могут причинить ей неприятности. И всё-таки послал — зачем? Считать ли это мальчишеской бравадой, оправдывать его тем, что мне тогда шёл двадцать второй год? Сознаюсь, поступок этот в самом деле выдавал в уже взрослом человеке и политическом заключённом подростка, для которого самое важное — произвести впечатление, козырнуть перед девочкой, дать понять, что к ней равнодушны. Главное, сказать ей об этом. Инфантильность была характерной чертой нашего поколения, об этом лучше поговорим ниже. Между прочим, позднее, много лет спустя, выяснилось, что послание моё всё-таки дошло, и притом без всяких последствий для Иры.

Любовь, говорит рассказчик у Пруста, это всего лишь плод нашего воображения (или, ещё определённой, «негатив нашей чувственности»). Мы любим не реальную, обыкновенную девушку, какова она в жизни и за кого сама себя принимает, — но ту, какой мы её себе представляем. История моих отношений с Ириной Вормзер (надеюсь, вы догадались, читая некото-

рые из моих сочинений, где она — главное действующее или скорее недействующее лицо, что имя это вымышлено) — история наших взаимоотношений, говорю я, лишний раз подтверждает убийственную правоту автора «Поисков утраченного времени».

Здесь, я думаю, кроется и ответ, зачем мне понадобилось переименовать её. Новое имя преображает его носителя, и я почувствовал, что должен описывать мою пессию не совсем такой, какой я её знал, но той, чей образ некогда рисовало мне моё воображение. Литература — это воображение. И вот теперь, вспоминая далёкие времена и один эпизод, сам по себе совершенно незначительный, но врезающийся в память, я спрашиваю себя: была ли эта Ира Вормзер, носившая тогда своё настоящее имя, реальной Ирой, а не иллюзией семнадцати-восемнадцатилетнего юнца?

Я чуть было не начал это письмо с упоминания о другом письме. Ослепительная идея объясниться в любви таким способом не впервые осенила вашего корреспондента. Письма, как верстовые столбы, разместили мою жизнь. Письма обозначили эпохи жизни. Вы, дорогая, знакомы с моими сочинениями; не устаю благодарить вас за терпение и снисходительность. Прочитав в отрочестве письма Герцена из владимирской ссылки к кузине Наталье Захарьиной, я заболел эпистолярной манией, и первым её симптомом было письмо к 20-летней Нюре Приваловой, написанное во время войны в эвакуации, в спальном бараке, при свете коптилки, тайком опущенное той же ночью в сельский почтовый ящик, письмо, сочинённое с единственной целью: пусть она знает! За этим отважным поступком

последовало возвращение в Москву, университет, первый курс... и снова письмо — к кому же? Вы улыбаетесь... Разумеется, к той, кому я много позже в своей литературе присвоил имя Иры Вормзер. Не буду сейчас о нём. Как вы теперь знаете, оно не было и последним. Замечу лишь, что эти письма-объяснения, подобно письму Татьяны (которому я, конечно же, невольно подражал), скорее вредят их авторам, — впрочем, об этом ниже. Итак, довольно о письмах; перейдём лучше к эпизоду, о котором я мельком и, может быть, неосторожно упомянул выше.

Если верно, что юношеская любовь, которая почти всегда остаётся безответной, может чему-то научить, подобно тому (смелое сравнение!) как музыка гениального композитора постепенно, по мере того, как мы её осваиваем, в итоге оказывается откровением нашей жизни, — если, говорю я, юношеская влюблённость представляет собой урок жизни, то правда и то, что увлечение Ирой Вормзер научило меня, в чём я убеждаюсь много лет спустя, кое-чему, во всяком случае, подарило мне две-три темы для будущего писательства. Упомяну примечательный парадокс: невозможность раздвинуть таинственную завесу, которую я сравнил бы (не довольно ли, однако, литературных реминисценций?) с покрывалом Изида у Новалиса. Юный Гиацинт приподнимает покрывало, скрывающее некую истину, и оказывается, что вожделенную тайну воплощает его возлюбленная, неуловимая Розенблют. В моей ситуации было нечто комическое: я знал, узнавал Иру, словно книгу, зачитанную до того, что из неё можно цитировать наизусть целыми страницами;

я знал во всех подробностях её убор, причёску, походку, черты лица, манеру поправлять упавший на висок завиток бледно-золотистых волос, издалека угадывал звук её шагов, замечал её в толпе сверстниц, закрыв глаза, видел её всю... а вместе с тем не решался её разглядывать, не мог себе представить, что найду случай ненароком коснуться её одежды. Она была для меня восхитительной плотью, и, однако, я не мог, не смел и не умел вообразить её хотя бы наполовину обнажённой. Было просто немыслимо поднять покрывало над её тайной, не оскорбив при этом, пусть мысленно, её целомудрие и не посягая на её а priori принимаемую теоретическую невинность. Была ли она «невинной»? Впрочем, в те времена, в пуританском обществе, воспитавшем нас, презумпция девственности была чем-то само собой разумеющимся. Сегодня, после всех пронёсшихся надо мною лет, я сумел бы, призвав на помощь свою литературную искущённость, а лучше сказать, испорченность, разоблачить тайну, или, что то же самое, истину — описать её тело юной, только что созревшей женщины, каким оно ныне предстало моему воображению, — если бы не опасение шокировать вас, дорогая. Вы поверите мне, если я вам скажу, что никогда не помышлял о том, чтобы соединиться с Ирой, обладать ею.

Но я отвлѣкся; будем продолжать.

Я назвал общество тех лет пуританским; думаю, вы согласитесь со мной, что ещё верней было бы назвать его — имея в виду не только политику, но и мораль — полицейским. Тут — или, как принято говорить, «в этой связи» — мне хотелось бы кое-что сказать

о нашем «поколении». Трудная тема! Шаткое, неверное слово, которое приходится брать в кавычки. В самом деле, кто такие были эти «мы», что такое наше или не наше поколение? Фантом, изобретение писателей. Моё поколение — это абстракция. Я привык считать себя закоренелым индивидуалистом. Я питаю глубокое недоверие ко всякому коллективизму. Ни с какой общественностью я ничего общего не имел и не испытывал желания связываться.

«Я поздно осознал свою принадлежность к поколению», — замечает Марк Харитонов (эссе «Родившийся в 37-м»), — даже как бы сопротивлялся чувству этой принадлежности». Мне кажется, я мог бы подписаться под этими словами.

Толкуют о «нашей эпохе». Боже милостивый, какая эпоха? Мы жили в эпоху, которой не было. Рискую впасть в неуместное острословие, можно сказать, что эпоха «эпох» в нашем государстве попросту прекратилась. Бывают такие страны, где история проваливается время от времени в яму.

Но! Хочешь не хочешь, придётся возразить самому себе. Нырять в омут минувшего, я принужден буду признать, что в самом деле принадлежал к тому сомнительному «мы», которое за неимением нужного термина должен назвать поколением, — в данном случае к поколению московской интеллигентной молодёжи ранних послевоенных лет. (Судьба пощадила меня: я достиг призывного возраста к моменту окончания великой войны.)

Поистине это было одинокое, неприкаянное поколение, и не только потому, что всякое проявление

солидарности, любая попытка сплотиться, тень единомыслия, группа или дружеский кружок, немедленно привлекали внимание вездесущей тайной полиции — тогдашнего МГБ, прослаивались доносчиками и заканчивались арестами, — не только поэтому. Но и потому, что мы были поколением, которого не было, потому, что угодили в расщелину истории. Всем нам было суждено жить и изживать нашу юность в гнуснейшую пору советского времени. Вы, дорогая, разумеется, помните эти годы.

Сказать о нас, что, дети военных лет, так и не сумевшие дозреть до того, чтобы стать поколением в полном и подлинном смысле, мы не знали жизни, сказать так было бы и правдой, и неправдой. С реальностью повседневного существования в Советском Союзе, чудовищным бытом, нищетой, голодом, вечной нехваткой всего и т.д. и т.п., со всем этим мы сталкивались весьма чувствительно и достаточно рано. Перед этими сиротливыми кулисами, наперекор всему, разыгрывалась трагикомедия нашей судьбы, ютилась наша молодость, поколение одиночек, типичными чертами которого были какая-то странная, всё ещё не преодоленная незрелость, застенчивость и стыдливость, поразительное невежество в вопросах пола, подростковый страх перед женской телесностью и полнейшее непонимание женской сексуальности у юношей, раз и навсегда заученная поза самообороны перед мужской инициативой у девушек вкупе с их неизбежным следствием — обоюдной скованностью... Короче, богатейший материал для фрейд-

стских умозаключений — в стране, где психоанализ был не просто запрещён, но чуть ли не приравнён к политической крамоле.

Пожалуй, я слишком растёкся по древу. Пора заканчивать, но позвольте мне пересказать одно маленькое воспоминание, которое я нахожу на дне омута, как ловец жемчужин — раковину на дне Индийского океана.

Был такой — и, говорят, стоит до сих пор на Пречистенке, некогда переименованной в улицу Кропоткина, Дом учёных; здесь в те годы устраивались вечера для студенческой молодёжи. Не помню, по какому случаю мы оба, Ира Вормзер и я, оказались на одном из этих вечеров. Я не ожидал её увидеть. Надо вам сказать, что я обожал танцы. И вот — какое грандиозное воспоминание! Грянул духовой оркестр, праздничная толпа всколыхнулась, и, набравшись духу, я приблизился к Ире. Кажется, она была удивлена. Она была прекрасна. Что было на ней? Пытаюсь найти нужное сравнение. В те годы в Москве появилось, в числе других американских продуктов, которыми кормился весь город, — счастливицы получали их по карточкам, — волшебное лакомство, сгущённое молоко с сахаром; если подержать закрытую банку в кипятке, молоко меняло свой цвет. Таким — золотисто-коричневым — было платье Иры, облежавшее уже довольно полную грудь и бёдра, и оно удивительно шло к ней, к её рыжеватым и светящимся, слегка вьющимся волосам, собранным в небольшой узелок на затылке. Музыка звала и будоражила нас, пары теснились вокруг, я неловко обнимал её, как полагалось, за талию, её ладонь лежала на моём плече, я видел в нескольких сантиметрах

от себя её вздымающуюся грудь, губы Иры были открыты, свежее дыхание обвевало меня. Казалось, и она была взволнована, и вся жизнь была впереди, жизнь была окутана дымкой недостижимого будущего. То были первые послевоенные годы надежд и ожиданий, приближалось новое время, и никто не подозревал о том, каким хищным будущим было временно это время. Юность не страшится будущего, этой тигриной пасти, которая пожрёт и тебя, и вместе с тобой — твоё короткое прошлое, всё то, что впоследствии сохранит усталая память; мы не знали, что из чащи лет за нами следят жёлтые очи плотоядного будущего, что Иру ждёт бедственное замужество, потеря ребёнка, мучительная болезнь, меня — арест, тюрьма и лагерь.

Дорогая! Вы чувствуете, что письмо, весь этот чересчур затянувшийся рассказ, требует завершения. *Harro end* — если бы можно было его так назвать...

Одним из немногих счастливых событий — может быть, самым счастливым в истории нашей многострадальной родины — была смерть вождя-каннибала, неожиданно ухнувшего в преисподнюю, чтобы разделить там по-братски с Шикльгруббером котёл с кипящей смолой. Я был выпущен на волю с запрещением возвращаться в Москву. И всё-таки, буквально на другой день не утерпел и позвонил из телефона-автомата Ирине Вормзер. Долго добирался до неё, она проживала в новом районе, на последнем этаже одной из новостроек. С колотящимся сердцем я поднялся по лестнице и позвонил в дверь.

Она отворила.



Узнали ли мы друг друга? Узнал ли я Иру? Конечно, как принято говорить в романах, годы наложили на неё свой отпечаток. Обо мне и говорить не стоит; мне с моей наружностью и без того терять было нечего. Зато она... Что ж, по крайней мере для меня она должна была оставаться красавицей.

Должна. Странное замечание, скажете вы.

Всю мою, показавшуюся необычайно длинной дорогу на окраину донельзя разросшейся столицы, мимо незнакомых станций новой линии метро, потом в переполненном автобусе и, наконец, в поисках дома, поднимаясь по ступеням неуютных этажей, — всю дорогу я не переставал думать об одном, вспоминал, как я любил Иру и не отваживался сказать об этом вслух, тщетно жаждал ответного внимания и мучался неутолённой страстью.

Мы сидели за скромным угощением, чокнулись бокалами с красным вином, но сердце моё уже не стучало. Жестокая догадка поразила меня. Похоже, я уже не любил её. Нет, зачем же: любил, конечно. Но не так.

Я встал. В маленькой прихожей снял с вешалки своё пальто. Она тоже поднялась, приблизилась и поцеловала меня.

И вот теперь, после её смерти, я спрашиваю себя: зачем я тогда не обнял её, зачем не спросил, не предложил ей выйти за меня замуж?..

# Троица, или Время

Сюита

## *Интродукция*

Сижу, освещаемый сверху,  
Я в комнате круглой моей...

...Сижу, твержу про себя дивную эту балладу и дерзостно представляю себя на месте другого изгнанника — Ходасевича. Комната моя, правда, прямоугольная, не круглая. Брезжит день, скучное утро сочится в окно. Голос радиодиктора, последние известия, всегда одни и те же. Прогноз погоды... Ну и что? Я жду своего часа. В десять — утренний концерт, Шуберт, Большая фортепьянная соната опус 916. Musik ist Zuflucht! Музыка — это убежище, от слова убежать. Zuflucht — от *zuflieden*, прибежать. Бежать из России, прибежать в другую страну. Музыка воплощает (и возвращает) ускользающий смысл существования, и — куда деваться? — дикая мечта вторгается в помрачённый ум.

Не странно ли, что вспоминается то, о чём помнить я не могу, хоть и уверяю себя, что так оно и было: молодая женщина, родившая меня, играла эти вещи. Она умерла тридцати трёх лет. От неё остался инструмент старинной германской фирмы, его давно нет, остались альбомы нот в твёрдых переплётках, исчерканные кара-

кулями. Пианино моего детства, с двумя медными подсвечниками, с пожелтевшими, как старые зубы, клавишами, по которым и сейчас бегут её пальцы, а я сижу на полу и смотрю, как нога в туфле с застёгнутой перемычкой нажимает на педаль. Теперь она играет мне из Детского альбома Чайковского. Мой Лизочек так уж мал...

Могла ли моя мама представить себе, что когда-нибудь я стану коротать поздний вечер моей жизни в другом столетии, на другой земле? Узнаёт ли она меня, новоприбывшего, там, в садах за огненной рекой, о которых вспоминает поэт?.. С чем, с каким багажом явлюсь я туда? Унесу ли с собой, на себе увесистый груз памяти, этот горб, мешавший мне распрямиться в земной юдоли? Тяжкой, как наш век, принудительной памяти, с которой приходилось доживать дни и ночи и которую следует противопоставить уютной произвольной памяти Пруста и девятнадцатого века.

Умолк Шуберт, умерший в таком же возрасте, как мама. Она закрывает крышку инструмента. Я всё ещё здесь, в нынешней мюнхенской комнате, над моей головой висит натюрморт парижского испанца Хуана Гри, шахматная доска, — репродукция, но однажды в Чикаго я наткнулся на подлинник в Art Institute. Напротив, на другой стене — старинная карта Российского государства — было когда-то такое. Оригинал, печать времени императрицы Анны Иоанновны, подарок покойного друга Гарри Просса, журналиста и политического историка послевоенной Германии. Рядом с музейной картой ещё кое-что.

Летом 1015 года по наущению старшего княжича, окаянного Святополка, были убиты дети Владимира Киевского, первые русские святые, братья Борис Ростов-

ский и Глеб Муромский, и вот они, в княжеских шапках и плащах, верхом на танцующих конях, на лунно-серебристом, ночном фоне взамен золотой византийской вечности: икона московского письма XV века. А вот и другие — ветхозаветные ангелы: гости престарелой четы — Авраама и Сарры. Еврейские юноши, вечно-женственные, задумчивые, склоняют друг к другу пышные причёски. Живоначальная Троица Андрея Рублёва.

### ***Бывшее будущее***

Знакомцы давние, плоды мечты моей.

*Пушкин*

Длится, всё ещё длится угрюмое утро, самое тягостное время дня; в который раз я озираюсь в ожидании иных, законнейших обитателей моего жилья. Но вот они пробуждаются от электронного сна с первыми кликами компьютера,

Борхес (в одной из бесед) ссылается на Оскара Уайльда: «Каждое мгновение соединяет в себе то, чем мы были, и то, чем станем; мы — это наше прошлое и будущее одновременно».

У меня в мозгу вмонтирована уэллсовская машина времени. Это она даёт мне возможность жить в разных временах, перемещаться из настоящего в прошлое и возвращаться назад, в призрачную область надежд и ожиданий — будущее моей души. Я ничего не жду, кроме финала. Машина эта есть не что иное, как безостановочно и своевольно работающая память, и её назначение перенимает литература.

Спрашиваешь себя, не такова ли участь персонажей романиста, обречённых как все мы, жить и умереть, заброшенных в пучину воспоминаний и обманутых морочком несбывшегося будущего. Пытаясь подвести итог долгой жизни — обзревая литературную работу и в свою очередь погружаясь в прошлое, — я как будто разгуливаю по кладбищу моей прозы между надгробьями действующих лиц.

### ***De te fabula narratur***

(О тебе сказка сказывается)

Так — по крайней мере с тех пор, как родина стала чужбиной, а чужбина не сделалась родиной, — родилась потребность как бы с высоты птичьего полёта обозреть российское прошлое, взглянуть недоверчивым оком на свою возвращённую этим прошлым литературу. Её, быть может, фундаментальный порок бросается в глаза: это слишком литературная литература. Чувствуется преувеличенное значение, придаваемое стилю, даёт себя знать еврейская озабоченность чистотой, прозрачностью, благозвучием русского языка. Наконец, эта специфическая эмигрантская заносчивость, едва ли не запальчивость, словно хотят уязвить оставшуюся «там» словесность с её вульгарностью, дурновкусием, инфекцией уличного жаргона, прирождённой немзыкальностью, точнее, «безмузием» (это я пытаюсь перевести античное *αιουσια*), да мало ли чем можно её попрекнуть.

### ***Et resurrexit***

(И воскрес...)

Прав ли я, однако? Опасность этого запоздалого флюбертианства очевидна. Скажут: старческий брыз-

жащий пуризм, потеря связи с реальной жизнью общества и самим обществом. И всё-таки веришь, утешаешь себя тем, что кое-что сделано, кое-что заслуживает сочувственного внимания: сосредоточенность на человеке, каков он есть, а не представляет некую социальную или национальную общность, интерес к его подлинной, прикровенной внутренней жизни, уважение к детству, величие отрочества, бремя юности, гипноз женской телесности. И тайная, с трудом скрываемая гордость тобою, одинокий художник, и сострадание — к кому же? К себе самому? — с усмешкой, порой презрительной, чтобы не сказать: безжалостной, одёргиваешь себя, ведь я давно привык отождествлять себя с ним, с тем, кто восстал из структуралистской смерти Автора и сейчас говорит о себе: «я», и перечитывает написанное.

### ***De libris***

(О книгах)

#### **1**

Pro captu lectoris habent sua  
fata libelli Terentianus Maurus

По разумению читателя своя  
судьба есть у книжек (*лат.*)  
*Теренциан Мавр,*  
*II век н.э.*

Память, чудный транспорт времени, снова переносит меня в Москву, в майские дни незабываемого Тысяча девятьсот сорок пятого, только что кончилась война.

Я сижу за столиком, который ещё в детстве моём служил подставкой для швейной машины, и вперяюсь в магию фразатуры, кудрявого готического шрифта. «О ничтожестве и страдании жизни», Von der Nichtigkeit und dem Leiden des Lebens, любимый параграф 46 второго тома трактата Шопенгауэра,

Поистине книги имеют свою судьбу — и верны своим читателям, и разделяют участь читателей. Два изящных томика в синих переплётках с золотым тиснёным факсимиле философа, автограф владельца книг с датой 1931. Текст пестрит подчёркиваниями — там и сям читатель останавливался и задумывался. Кем он был, этот неизвестный владелец? Не так давно он был жив. Но едва ли уцелел. Где-нибудь в Восточной Пруссии, в Мекленбурге, в Померании или Северном Бранденбурге находился его дом. Кто-то спас от бомб и огня его библиотеку. Книжки, были реквизированы и свезены в числе других военных трофеев, чтобы найти приют в столице победителя на полках букинистического магазина, и куплены, и подарены семнадцатилетнему юнцу ко дню рождения. Прошло сорок лет. Мне стукнуло пятьдесят. Я должен был оставить недоброе своё отечество, накануне отъезда случайно познакомился с двумя туристами, совсем ещё юными студентами из Филадельфии. Просил их сберечь, взять с собою за океан несколько моих немецких книг, Шопенгауэра, Новалиса. Книжки отправились в изгнание — вторично, — а несколько времени спустя, в Мюнхене, я получил из местной еврейской общины извещение о том, что на моё имя прибыла из Израиля посылка... Книжки вернулись в на свою

родину. Думал ли я в тот голубой и солнечный майский день Сорок пятого, гадал ли, оправдает или опровергнет мрачные рацеи знаменитого пессимиста моя будущая жизнь?

## 2

Дом на Метростроевской, которую мой отец всё ещё называл Остоженкой, находился по соседству с палатами (как считалось) Малюты Скуратова, неподалёку от соборного храма Христа Спасителя, взорванного зимой 1931 года, и будущего исполинского Дворца Советов с фигурой вождя, которую должны были задевать облака. В детстве я сочинил стишок:

Стоит Дворец Советов.  
На нём творец советов.

В войну разобрали готовый фундамент будто бы из предосторожности, дабы он не служил ориентиром для вражеских самолётов. Впоследствии огромный котлован был прикрыт фанерной кулисой с несбывшейся футуристической мечтой — изображением архитектурного монстра. Почти анекдотический образ несостоявшегося будущего. А на его месте, как все помнят, появился плавательный бассейн.

В этом доме на Остоженке, в нескольких шагах от Пречистенского, позднее Гоголевского, бульвара и станции метро «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинской»), жила Ревекка Израилевна Новикова, тётя Рива, врач-



стоматолог с собственным зубоучебным кабинетом, двоюродная тётка моего отца, мать Геры Новикова, тогда ещё школьника. Тётя Рива была упрямой и своевольной. Дочь раввина, она уехала против воли отца из родного белорусского местечка учиться в Варшаву, окончила там медицинский факультет. Она была женой таинственного и никогда не упоминаемого дяди Наума, журналиста газеты «Правда», которого в 1938 году люди НКВД разбудили однажды ночью и увели из дома, как оказалось— навсегда. Тётя Рива ждала его долгие годы, добиваясь аудиенции у высоких чинов, узнавала от них, что её муж жив, где-то далеко работает и даже обзавёлся новой семьёй. Она скончалась после войны и уже после того, как я освободился из лагеря, но, умирая, всё ещё верила, что дядя Наум вернётся. В первые годы перестройки, в те короткие времена, когда кровавая гадина, как будто присмирив, разрешала родственникам ознакомиться с «делом», выяснилось, что отец Геры был расстрелян сразу же после ареста.

### 3

Мне было 14 лет, я жил в Татарской республике в эвакуации и вёл увлекательную литературную переписку с Герой. Сказано кем-то: *Chacun de nous a deux patries, la notre et la France*, у каждого из нас две родины: наша собственная и Франция. Гера был патриот Франции и поклонник французской литературы, которую считал самой богатой в мире, любил Илью Эренбурга, знал язык, от Геры я услышал имена дотоле мне неиз-

вестные: Барбе д'Орвилли, Леконт де Лиль, Вилье де Лиль Адан, Эрнест Ренан, однажды получил от него большое письмо о Верхарне и его сборниках «Фламандки», «Вечера», «Разгромы», «Чёрные Факелы», с переводами Брюсова и самого Геры. От отца у Геры, сохранилась, как ни удивительно, богатая домашняя библиотека. Когда, вернувшись в Москву, я поступил в университет, он давал мне читать совершенно недоступные тогда книги «настоящего» Эренбурга «Виза времени», «Белый уголь, или слёзы Вертера», даже «Хулио Хуренито», некогда шумевший роман Луи Селина «Путешествие на край ночи» с предисловием Бухарина и в переводе триолешки, как называла Ахматова даму с сомнительной репутацией — Эльзу Триоле. Были среди них и дореволюционные, изданные А.Ф. Марксом в переплётах красного сафьяна тома запретного Леонида Андреева, чьи повести и особенно пьесы произвели на меня сильнейшее впечатление.

#### 4

Абсурд имеет свойство повторяться. Вспоминается — раз уж зашла речь о книгах и судьбе книг — изъятый у меня в конце 70-х роман. Вломилась в квартиру на рассвете восемь мужиков, в том числе «понятые», актёры без речей. Отряд возглавлял следователь с университетским ромбом на лацкане пиджака, что имело большое значение. Во-первых, слуга закона — выпускник юридического факультета, поистине комического учреждения. Тайная полиция располагала собственной

юриспруденцией, вроде того как океанский лайнер оснащён своей электростанцией, и сама для себя сочиняла законы; закон же в советском смысле представлял собой инструкцию, как надлежит творить беззаконие. Во-вторых, университетский значок давал понять, что и мы не лаптем щи хлебаем.

Руководил всей операцией заочно по моему домашнему телефону некто Смирнов, начальник следственного отдела московской прокуратуры — филиала КГБ. Велось дело о подпольном машинописном журнале «Евреи в СССР», которого автором и чем-то вроде литературного консультанта я состоял, Искали журнал, рассчитывали найти плёнки с материалами для переправки за границу, была развинчена стиральная машина, вскрыт письменный стол и так далее, пол усеян книгами, выкинутыми из шкафов. Но в целом улов был невелик: пишущая машинка, именуемая множительным аппаратом, та самая, воспетая Галичем гэдээровская Эрика, её опустили в большой мешок, с нею вместе антисоветская, хоть и написанная до революции, книга С.Ю.Франка «С нами Бог», секретная листовка на плохой бумаге «Ко всем заключённым нашего лагеря», о введении зачётов, далее самодельная, из обёрточной бумаги, тетрадка с моими лагерными литературными опытами. И то, и другое пролежало в шкафу 25 лет. И, наконец, — тут следователь почувствовал, что ударяет по самому больному месту, — рукописи недописанного романа. Я был весьма удручён этой потерей, написал небольшой текст «Памяти одной книги», по предложению друзей надиктовал на магнитофон — лента тоже

пропала — проект-содержание погибшего шедевра, несколько месяцев вёл канцелярскую войну, писал протесты, заявления и т.п., мне даже — небывалый случай — вернули машинку. Всё это продолжалось до тех пор, пока не пришла официальная бумага о том, что рукопись передана для экспертизы в Главлит, роман признан антисоветским и *арестован* — как некогда его автор

Мой роман под новым названием «Антивремя» был написан, отчасти по памяти, заново и опубликован по-немецки в Мюнхене, по-французски в Париже, по-русски в Нью-Йорке, позднее в Москве и Санкт-Петербурге.

## Юность

Иногда, — впрочем, не так уж часто — вспоминаешь юность.

Мою обрубленную юность. Сравниваешь нынешнюю жизнь с той, давно ушедшей, страну, где ныне коротаю я затянувшуюся старость, — с незабвенным отечеством. Так можно сравнивать жизнь на Земле с существованием на Сатурне.

Помню событие, замечательное своей невероятностью, гробовой голос Левитана из радиоприёмника на столбе в бараке: Товарищ Сталин потерял сознание. Злорадное торжество, охватившее всех, хоть и старались его не показывать: наконец-то! И хотя каннибал, как считалось, ещё был жив, все поняли: это конец.

Но ещё много воды должно было утечь, прежде чем наступили перемены. Время — вещь необычайно долгая как сказал государственный поэт. И текла она, эта вещь, по-другому, словно на дальних планетах. Как малосрочник — всего лишь восемь лет, вдобавок большая часть срока уже отсижена, — я был расконвоирован и должен был перепробовать много новых должностей и работ. Был и ночным дровоколом на электростанции, и банщиком-истопником в бане для начальства, и конюхом, и хозвозчиком, и комендантом на крайнем северном полустанке лагерной же-

лезной дороги. Полагаю, нет необходимости напоминать о том, что рабовладельчество сохранялось в нашей стране ещё долгие годы.

Однако вернусь к тому, с чего начал. Загремел железный засов на вахте. Предъявив только что вставшему с лежанки, сладко зевающему дежурному вахтёру свой заветный пропуск бесконвойного, я вышел за ворота лагпункта в синюю морозную ночь. На чёрно-бархатном небе низко над лесом сверкали алмазные звёзды стоявшей горизонтально Большой Медведицы. Всю долгую ночь 55-го года несла вахту в недоступной зрению космической вышине окольцованная планета лагерей, покровитель России — Сатурн. Всю ночь напролёт сияло, словно иллюминация, кольцо огней вокруг зоны и били с вышек белые струи прожекторов.

По узкой протоптанной в снегу дорожке мимо увешанного лампочками, нежно позванивающего цепочками бессонных овчарок древнерусского тына я прошагал до угловой вышки с завёрнутым в тулуп пулемётчиком и направился к сторожке при магазине вольнонаёмных охранять этот магазин неизвестно от кого. Славная была работа. На мне был стёганный ватный бушлат, род униформы заключённых, ватные штаны и чудовищные валенки б/у, что означает бывшие в употреблении, на головеушанка с козырьком рыбьего меха и завязанными ушами, руки в латаных мешковинных рукавицах.

Посидев немного, я вышел из сторожки. Тёмная и укромная чаща поджидала меня, нерушимо храня тайну. Я научился определять время по звёздам. Привык к риску. Риск этот, и немалый, состоял в том, что

если бы меня хватились, мне было бы не сдобровать: влепили бы новый срок. Чего доброго, загнали бы на край света, куда Макар телят не гонял. Отечество наше, слава Богу, велико и обширно. Столетние сосны, утонувшие в снегу, расступились перед идущим, я бодро шагал вперёд по знакомой дороге. Идти было недалеко, километров пять.

Наконец, посветлело впереди. В белёсой мгле завиднелись угластые избы под шапками снега. Ни звука, ни огня вокруг, деревня спит вековым непробудным сном со времён Батгя, лишь два окошка светятся на самом краю забытого Богом селения. Проваливаясь в сугробах, путник перебрался через погребённый плетень и взошёл на крыльцо. Оттоптал снег в сенях, толкнулся в тяжёлую, застонавшую дверь. В тёплой и духовитой от развешанной под потолком полыни избе было чисто и уютно, чахлый огонёк вздрагивал в сальном светильнике на дощатом столе, в красном углу тускло поблескивала жестью оклада темноликая византийская Богородица.

Я уселся на пороге, стянул валенки, размотал портянки. Она стояла надо мной, босая, в длинной рубахе, под которой стояли её большие материнские груди.

— Феклуша! — сказал я, поднимаясь. И мы обнялись и долго, горячо целовались.

Вскарабкался в лагерьном белье по шаткой лесенке на лежанку. Печь дышала теплом. Сильные женские руки обхватили меня, пальцы ловко, нежно отыскивали уд. И я погрузился в чашу её просторных бёдер, словно возвратился из дальних странствий, — на родину.

## О Вечно-Женственном

Знай­те же, Вечная Жен­ствен­ность ныне  
В теле нетлен­ном на зем­лю идёт.

*Вл. Соловьёв*

### 1

Величайшим завоеванием античного ваяния стал подвиг жившего в IV веке до н.э. Праксителя — открытие женщины. Наследницы Афродиты Книдской, много­различные воплощения женственности населили искусство средиземноморской ойкумены: итальянские мадонны, византийские богородицы, Афродита Анадиомена, восставшая из морской пены, и вечно юная «Весна» Боттичелли, спящая Венера Тициана, загадочная Мона Лиза Леонардо, задумчивые крестьянки Веронезе из «Видения св. Бернарда», Ева Дюрера, Ева Блейка, обнажённая маха Гойи, призрачные, статуарно-безмолвные женщины Поля Дельво, танцовщицы и прачки Дега, ню Модидьяни, смуглые, приглушённо-жгучие таитянки Гогена, эротические чудовища Виктора Браунера, пышнотелые модели Кустолиева, Ева Хаима Сутина, Ля Гулю и Жана Авриль Тулуз-Лотрека... И так далее...



## 2

Двумя символами женщины назовём Дом и Чашу. Кормящие сосцы, вместительная чаша бёдер — колыбель и врата жизни. Дом — прибежище и приют удручённых, замерзших, заблудших. У Бдока: «В густой траве пропадёшь с головой, в тихий дом войдешь не стучась. Обнимет рукой, оплетёт косой...»

Бывают женственные страны — такова наша Россия, влагалищная страна, с её умиряющей и умиротворяющей, распротёртой навстречу путнику природой, засасывающей и дарующей забвение. Широко раскинувшая свои плодоносные бёдра, бескрайняя Россия, где география поглотила историю, где, как сказано классиком, хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь.

## 3

У Гёте — тут опять без цитаты не обойдёшься: финал «Фауста», гимн мистического хора. *Das Ewig — Weibliche zieht uns hinan*. Вспомним и Вечную Женственность Владимира Соловьёва, и обеих богинь Платона, Уранос и Пандемос, небесную и площадную Афродиту, и спор Сократа и Диотимы о двуликом Эроте.

Вспомним эротику еврейской Каббалы, подвального деда, согбенного толкователя книги Зогар, персонаж моего старого романа «Нагльфар в океане времён». Позволим себе по этому поводу задать попутно два-три вопроса.

Были ли каббалистические фантазии о вселенском теле, повторяющем изгибы и возвышения тела человеческого, о первочеловеке Адаме Кадмоне, женщине и мужчине в едином теле, андрогине, бессильном произвести потомство, об усыплении Адама, которое, было не чем иным, как смертью, после чего Творец отказался от первоначального замысла и произвёл на свет нового человека в двух ипостасях. Что такое этот магический ребус Каббалы, буквы, самый рисунок которых намекает на связь с полом, так что, например, сходный с ключом или посохом, прямой вознёсшийся Вав означает мужское и мужественное начало, путь и отмыкание, а развёрсты́й, похожий на вход Мем и горизонтальный Самех, буква, которую изображали трёхсторонней и которая в самом деле происходит от шумерского Треугольника, знака женщины? Чем оправдано возведение соития в мировое событие? Что здесь знак и что — обозначаемое? Почему постель представляется хрустальным ложем мира? Выясняется, что низменная действительность не равна самой себе. Еще вчера она казалась чем-то бесспорным и очевидным, сегодня — она лишь знак чего-то другого. Так пол становится снова загадкой и мерцает чем-то недосказанным; так странные и наивно-непристойные иносказания Каббалы превращаются в притчи о мироздании.

#### 4

Героини моих сочинений... Годы изнурительного труда — а чем иным может быть литература? — научи-

ли, открыли простую истину: женский образ — это *experimentum crucis* писателя, решающее испытание. Выдержал ли я этот экзамен?

Тринадцатилетний подросток Люба из романа «Нагльфар в океане времён», колдунья, суккуб, совративший слабовольного красавца Анатолия Бахтырева на чердаке дома, уподобленного кораблю мертвецов скандинавской мифологии, там злая девочка становится любовницей Бахтырева и причиной его смерти. Пожилая дворянка, пережившая революцию и крушение старого мира, экс-баронесса Анна Яковлевна Тарнкаппе (роман «Вчерашняя вечность»), которая проживает в московской коммунальной квартире и учит мальчика, будущего создателя этого романа, французскому языку. Девушки-медсёстры в бывшей земской больнице русско-татарского села на Каме, полногрудая Нюра Привалова и худенькая черноглазая Маруся Гизатуллина в повести «Третье время», история полудетской любви и первого соединения с женщиной. Ольга Варфоломеевна, стремительно шагающая в летнем лёгком платье по московскому переулку, поражает, как удар током, своей красотой подростка, который становится её возлюбленным и покушается на самоубийство, когда она его покидает (повесть «Праматерь»). Дина, живущая в Париже одинокая девушка-калека, жертва абсурдной войны за какую-то мифическую национальную независимость; рассказ, озаглавленный цитатой из Аполлинера *Vienne la nuit* («Пусть ночь придёт»), заканчивается исчезновением Дины, неожиданно оставившей человека, который верно и самоотверженно служит ей и тщетно добивается

её руки. Своевольная Нина Купцова, героиня одноимённого рассказа, дразнит одержимого страстью студента-медика и садистически мучает вот-вот готовой осуществиться близостью, но каждый раз ускользает и в конце концов умирает от ножевой раны, нанесённой неизвестным любовником... Прибавлю, что бóльшая часть моих женских персонажей увиденны, как это часто бывает, глазами мужчины, но некоторые из моих произведений — повесть «Русский путь», новелла «Клавир-соната опус 90» — написаны от имени женщины.

И так далее, и так далее...

## СОДЕРЖАНИЕ

Московские древности .....	5
О дневнике .....	11
История псевдонима.....	13
Об одном литературном герое.....	15
Детство тридцатых.....	20
Слушай, друг Сальери .....	24
Tat twam asi .....	26
Вечный полдень .....	27
Жизнь.....	30
Дворец.....	32
Кое-что о прозе .....	34
Париж и всё на свете.....	41
Сильваплана и Отель искусств.....	55
Катабасис.....	65
Генеалогические грёзы .....	67
Атомная теория вечности .....	73
Предательство языка.....	77
Из предисловия к «Запаху звезд» .....	78
Поколение .....	81
Жатва .....	86
Marche funèbre .....	89
«Прибытие» .....	94
Письмо к старой приятельнице.....	101
Троица, или Время.....	112
Юность.....	123
О Вечно-Женственном .....	126

**Борис Хазанов**  
**ТРЕВОГА И ТРУД**  
Малая проза



Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Оригинал-макет *Б. Н. Марковский*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.

Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:

СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,

тел. (812) 577-48-72, [aletheia92@mail.ru](mailto:aletheia92@mail.ru)

Отдел продаж: [fempro@yandex.ru](mailto:fempro@yandex.ru), тел. (921) 951-98-99

**[www.aletheia.spb.ru](http://www.aletheia.spb.ru)**

*Книги издательства «Алетейя» можно приобрести  
в Москве:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. [www.biblio-globus.ru](http://www.biblio-globus.ru)

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83

Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.

Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.

Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин «Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18.

Тел. (495) 691-51-16

**Интернет-магазин: [www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)**

Формат 70x100 1/32. Усл. печ. л. 5,34. Печать цифровая.

Заказ №0320897-5. Отпечатано в типографии

ООО "Супервэйв Групп". 193149, РФ, Ленинградская область,

Всеволожский район, пос. Красная Заря, д.15.



**Борис Хазанов** (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей.

Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

**Сборник рассказов и эссе, написанных в последние годы и объединённых общими темами: время и память, сон и явь, действительность и литература, любовь и судьба личности, отстаивающей своё достоинство и существование в обезчеловеченном мире.**